

ЮЖНЫЙ
КАВКАЗ
альманах

1

Сухум 2011



International Alert.

Альманах издается в рамках проекта «Медиация на Южном Кавказе» британской неправительственной организации International Alert при финансовой поддержке Европейского Союза.

International Alert и Европейский Союз не несут ответственности за содержание публикаций альманаха.

Редакторы

Батал Кобахия (Сухум)
Гурам Одишария (Тбилиси)

Литературный редактор

Надежда Венедиктова (Сухум)

Редакционная коллегия

Арег Баяндур (Ереван)
Эльчин Гусейнбейли (Баку)
Джана Джавахишвили (Тбилиси)
Жанна Крикорова (Степанакерт)
Даур Начкебия (Сухум)
Джюльетт Скофилд (Лондон)
Лариса Сотиева (Лондон)
Марина Чибирова (Цхинвал)

Дизайн, верстка ... Архип Лабахуа



Сухум



Тбилиси

Вступительное слово

Идея издания литературно-публицистического альманаха родилась в период, когда шла работа над книгой «Время жить» – более чем десять лет назад в рамках Кавказского Форума Неправительственных организаций. В книге были опубликованы публицистические и художественные произведения писателей Южного Кавказа, отражавшие мысли и чувства людей, переживших войну. Примерно в это же время появлялись различные инициативы и издания, которые способствовали восполнению некоего пробела в культурном диалоге народов Кавказа, прерванного затянувшимися на десятилетия конфликтами и войнами. Изучая опыт медиации на Южном Кавказе, спустя много лет, мы пришли к идее о необходимости возобновить диалог через культурное взаимодействие. Ради этого создается периодический литературный альманах, в котором будут публиковаться небольшие произведения писателей и поэтов Южного Кавказа. В дальнейшем предполагается публикация и небольших эссе, публицистических и философских статей-размышлений, затрагивающих

прошлое, настоящее и будущее, как всего Кавказа, так и отдельных регионов.

В первом номере альманаха собраны произведения писателей из всех регионов Южного Кавказа. На наш взгляд, потенциал представителей творческой интеллигенции недостаточно использован в миротворческом процессе. И альманах может стать своеобразной площадкой для диалога народов Южного Кавказа на уровне деятелей культуры. Новые культурные связи будут способствовать снижению порога нетерпимости. В последние десятилетия литературы народов Кавказа фактически были оторваны друг от друга, и мы надеемся, что альманах поможет восстановить былые связи. Мы уверены, что в будущем удастся собрать деятелей культуры на фестиваль поэзии и прозы, в котором, возможно, участники создадут единый манифест мира и диалога культуры как альтернативного способа общения народов Кавказа. Это даст нам возможность на различных встречах писателей проговаривать многие моменты, разобщающие людей, и тем самым помочь различным обществам лучше понимать проблемы и настроения друг друга. Очень важно, что отныне рассказы писателей, опубликованные в общем сборнике, станут достоянием не только собственных сообществ, но будут доступны всем жителям Южного Кавказа и других регионов мира. И мы надеемся, что у нас хватит сил и ресурсов сделать его регулярным по периодичности изданием. Мы будем стремиться к тому, чтобы в альманахе были представлены впервые публикуемые произведения. Возможно, чаще всего эти произведения будут опубликованы сначала на национальных языках в своих сообществах. Однако в наших сборниках мы постараемся, чтобы они впервые публиковались в русском переводе. Но при этом мы не отказываемся и от ретроспективного взгляда, считая, что в альманахе должны периодически размещаться наиболее яркие произведения корифеев национальных литератур. В дальнейшем мы предполагаем публиковать иллюстрации к некоторым произведениям, а также создадим специальный литературный сайт, на котором будут вывешены все произведения, как включенные в альманах, так и те, которые не вошли в печатное издание. Это будет способствовать тому,

чтобы тексты могли прочесть и случайные читатели, а также те, которые живут далеко за пределами Кавказа.

Во многих регионах Кавказа с некоторой ностальгией вспоминают советский журнал «Дружба народов», да и другие периодические журналы, в которых печатались произведения национальных литератур народов СССР. Многие писатели сетовали, что знают своих коллег, хорошо знакомы с русской и западной литературой, но совсем не знают писателей Кавказа, потому что нарушены или утрачены связи. Сейчас мы практически не делаем ничего нового, мы просто хотим возродить те традиции, которые существовали прежде, но без идеологической подкладки, которая едва выдержала 70-летие.

Приносим благодарность нашим контактным персонам и редакторам альманаха в различных городах Южного Кавказа.

Содержание

Микаэл Абаджянц. Заумь. Рассказ	8
Салим Бабуллаоглу. Из стихотворного сборника «Тетрадь рисунков Ильяса Гэчмэна...».....	12
Ашот Бегларян. Культурное мероприятие, или Рассказ о том, как немец двух кавказцев мирил. «Салимчика жалко!» Рассказы	32
Надежда Венедиктова. Сухумский драйв образца 80-х	42
Норик Гаспарян. Аэропорт. Кашель. Паутина. Рассказы.....	57
Алексей Гогуга. Туман. Рассказ.....	79
Эльчин Гусейнбейли. Девушка от «Caldion». Рассказ.....	94
Теона Доленджашвили. Реальные существа. Рассказ.....	102
Эльхан Зал Караханлы. Полонез. Поэма.....	124
Шота Иатишвили. Движение. Стихи.....	135
Мелитон Казиты. Верю в человека. Рассказ.....	141
Даур Начкебия. Волк. Гость. Послание. Рассказы.....	149
Магсад Нур. Оркестр Василия Даниловича. Рассказ.....	157
Гурам Одишария. Фукусима. Рассказ.....	168
Гунда Сакания. Песнь Сатаней. Стихи.....	174
Рафик Таги. Опера-балет. Ошибки Микеланджело. Рассказы.....	176
Тамерлан Тадтаев. Диана. Миниатюры. Рассказы.....	192
Милена Тедеева. Бабочка. Рассказ.....	198
Вардан Ферешетян. Стая и Грамматик. Город. Рассказы.....	209
Бесик Хведелидзе. Тринадцатое пятно. Рассказ.....	222
Левон Хечоян. Третий сын. Путешественник. Рассказы.....	232
Аза Худжеева. Герань. Стихи.....	244



Родился в 1970 году. Прозаик, переводчик.

В 1999 году рассказ «Белая броня» удостоен специального приза Международного ПЕН-клуба. В 2004 году сборник рассказов «Белая башня» (2002) получил ежегодную премию им. Артака Амбарцумяна. В 2009 году МСП «Новый Современник» присудил ему почетное звание «Короля Прозы».

Переводился на английский и другие языки.

Живет в Ереване.

Заумь

Водился я некогда с одним странным типом, писавшим стихи. Бегал он за мной по пятам, только бы я взглянул на его творения. Стихи я, конечно, хвалил, мне это не составляло труда, тем более что обсуждали мы их где-нибудь в закрытом кафе или ресторане. Угощение всегда было отменным, на столе искрилось пиво или темнело вино, изумительно пах копченый сыр. Закрывал счета всегда он. И был бесконечно счастлив, когда ему удавалось вырвать у меня похвалу. Хвалил я его не сразу, указывал на слабые стороны его творчества, подбрасывал кое-какие идейки. А стихи, между нами говоря, были совершенно невразумительные. Сам он их называл «заумью», видимо, не вполне понимая значения этого слова. Все, что невозможно было разобрать, объяснить и растолковать, подпадало под эту выдуманную им общую формулировку. И когда я спотыкался, запинаясь, чувствуя, что алкоголь уже замутил мне рассудок, мой приятель многозначительно закатывал к потолку глаза и произносил: «Вот это настоящая заумь!».

Был он много старше меня, хотя молодил. В похотливой дымной атмосфере кафе женские взгляды из нас двоих всегда безошибочно выбирали меня, и он, как мне думалось, от этого всегда несколько страдал. Я прикладывал все усилия, чтобы не показывать, что замечаю это. Он был стар для поэта, для начинающего поэта. И где он был все эти годы со своими заумными стихами. Почему привязался ко мне. Да и кто, кроме меня, стал бы разбирать эти стихи, пролежавшие не один десяток лет в каком-нибудь пыльном ящике. Любой редактор сломал бы ручку, пытаясь добраться до их смысла. Игра корнями слов, поиск двойного значения там, где его не могло быть, поиск абсолютных рифм... Господи, да неужели вдохновение поэта могло выдавать и такие уродливые формы!

Шло время, наше общение приобретало характер болезненной привязанности. Мой приятель после общения со мной стал писать стихи значительно лучше. Он все так же еще стремился мне их показать, но только когда был в настроении и при деньгах. К моим замечаниям уже относился весьма критически. Принимал их не сразу, подливал мне вино уже не так охотно, как прежде, объявляя при этом, что поэт такой-то сказал по поводу этого его стиха то-то или это... Его уже больше интересовала моя реакция на мнение относительно его произведений других весьма уважаемых литераторов. Он уже не принимал мои слова на веру и, закрывая счет, не торопился это делать, давая мне время ради приличия тоже порыться во внутренних карманах своего костюма.

Самое удивительное во всей этой истории было то, что сам я стал

писать значительно хуже. Исчезло былое вдохновение. Потоки рифм не рвались ввысь, разбилась стройность мысли, тупая заушь все чаще обволакивала мое сознание. Крылатые музы не вдохновляли меня, точно я был скован обязательствами перед другой, тупой и бездарной силой. А в художественной периодике уже замелькали портреты моего приятеля, о нем говорили уже если не с восхищением, то как о подающем великие надежды поэте. Звонил он мне все реже, все меньше говорил о своей «зауши» и все больше старался оборвать разговор на полуслове, подливая мне пивка.

Я не мог понять, почему в моих произведениях больше не было творческого азарта. Почему они стали серыми и заушными. Я объяснял себе это тем, что я уже не юн и повидал жизнь, и творчество мое обретает более зрелые формы. Но мои объяснения не имели под собой истинной основы. Я страшился честно признаться себе, что это тупая «заушь» произведений моего приятеля овладела моим сознанием, что, пытаюсь разобрать путаницу его обрывочных мыслей и строк, я сам запутался, оставив в этой липкой паутине все лучшее, что было в моем собственном творчестве. А мой приятель уже получал литературные награды и больше мне не звонил...

Однажды, когда я прикладывал неимоверные усилия, чтобы написать очередное стихотворение, упорно отгоняя от себя мрачную навязчивую «заушь», раздался телефонный звонок. Мой приятель был в отличном настроении и приглашал меня в шикарный ресторан. Вчера его награждал сам президент за бесценный вклад в литературу. Перспектива хорошо поесть и выпить сразу положила конец моим творческим усилиям, и я охотно согласился. За мной приехал черный автомобиль с желтыми шашечками такси, повез меня по малознакомым улицам. В ресторане все отливало золотом, от яркого света резало глаза. Между столами носились официанты и симпатичные официантки в черных парах. Нам был заказан столик на двоих. Мой приятель вел себя неприужденно и больше не показывал мне своих стихов. Внимание присутствующих привлекал только он. Его узнавали, он был в ореоле славы. Он говорил о том, как быстро смог сделать карьеру в литературе и уже даже начал приобретать мировую известность. Ну, конечно же, он считается с моим мнением, иначе не стал бы себя обременять такой дружбой. Что-то в его словах мне не нравилось все больше и больше. Мы выпили шампанского и закусили, после чего я сказал ему, что все это хорошо, но что делать с той тупой заушью, которую он мне оставил, да так и не забрал. Сначала он рассмеялся и сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Но я уже порядком набрался и стал тупо настаивать

на том, чтобы он избавил меня от этой своей зауши. А про себя я еще подумал, что, глядишь, и талант свой удастся вернуть. Но он точно прочитал мои мысли. Побледнел, стал совсем белым в ярком ресторанном свете. И тут я понял, что он меня на целую вечность старше. Он бросил на тарелку смятую салфетку и позвал идти за собой. Мы вышли в сад, где гулял холодный бесноватый ветер. Я почти протрезвел, но снова завелся по поводу зауши. Вдруг он выбросил вперед руку и разбил мне лицо. Моя ладонь оказалась в крови. Он объявил мне, что на этом наша дружба кончается, что больше он мне никогда не позвонит, и чтобы я тоже не смел его с этих пор тревожить. Я был вне себя от ярости, подобрал с земли булыжник и запустил ему в голову. Больше я ничего не помню.

На следующий день по телевидению и радио только и говорили о том, что великий поэт убит неизвестным маньяком...

Из стихотворного сборника «Тетрадь рисунков Ильяса Гэчмэна...»
(эта книга состоит из 40 стихотворений, написанных на основе 40 фотографий
турецкого фотографа Ильяса Гечмена)



Салим Бабуллаоглу

Поэт и переводчик с русского (Б.Пастернак, И.Бродский), турецкого (О.Вэли, Ф.Х.Дагларджа), польского (Ч.Милош, З.Херберт) и английского (Т.С. Элиот, У.Х.Оден). Автор десяти стихотворных книг. Лауреат премий «Золотая фраза – Шанс», «Переводчик года», «Золотое перо» и других. Книга «Тетрадь рисунков Ильяса Гечмена» (Баку, 2009) признана одной из лучших стихотворных книг десятилетия. Живет в Баку.

Девочка с гнилыми яблоками скажет это спустя годы



Немного муравьи их поели, немного черви,
немного гнилыми они были, испорченными, в пятнах,
немного испачкались в земле, без черенка.
Нам говорили, что яблоки падают с неба,
видели, как их с неба срывали.
Нам говорили – будьте чистоплотны,
и мы яблоки о себя чистили – собою.
Нам говорили – не срывайте яблоки,
и мы их с земли собирали.
Нам говорили, что есть и слаще фрукты,
мы знали, верили...



Подражание Филиппиду

На мосту Султана Мехмета в Стамбуле, что связывает Восток с Западом, фотограф снимал людей, бегущих марафон, а мальчик лет десяти, чистильщик обуви, с удивлением смотрел на все это и думал

Люди не в массе своей, а в одиночестве больше значат – памятью, грезами.

Люди не в большинстве правы, а вместе:

а это каждый день и в одиночестве можно понять.

Каждый новый миг есть история плюс сегодняшний день,

так что я старше и дедушки, и отца – и так будет всегда:

и потому, когда меня называют ребенком, я злюсь;

не чисти ты чужие туфли, не крась их – говорят они мне,

и забывают, что я всегда был старше;

и есть те, за кого я в ответе;

что мать моя больная, братик мой немой.

А вот их-то – бегающих – я не понимаю.

Почему их так много?

Какую важную весть они с востока на запад несут?

Неужели в Филиппида они играют?

Не может так быть, что персы опять проиграли?

Почему тогда они так бегают?

Ты же дядя, который снимает,

напиши под этим снимком вот что:

«Царство небесное тебе, Орхан Вэли*,

что мы не делали для этой родины,

некоторые обувь чистили,

а некоторые Филиппиду подражали».

**Орхан Вэли – один из основоположников турецкой модернистской поэзии. Цитируются и обыгрываются его знаменитые строки: «Что мы не делали для этой родины, некоторые умирали, а некоторые речь держали»*



Интервью домохозяйки для «Фэшн» магазина

Наша одежда – тела наши, нас в большей степени скрывают – от ударов, от агрессии, от холода, и от жары никак не охраняют. Я их через день стираю, вешаю, я их хорошо знаю. А как быть злым намерениям в сердцах наших, которые литрами кровь пьют ежедневно и скрываются слева, в груди, под рубашкою? Кто, как, где и каким мылом их будет стирать? Я через день – когда думаю об этом и о младшем брате – в их пестрый ряд вешаю белые флаги, хочу, чтобы ветры всему миру донесли их запах чистоты, влаги и поражения, что они нас больше скрывают, чем охраняют..



. Гимн людей в масках

Кто прочтет наши морщины на лбу по строкам,
кто? Какой филолог? Какой каллиграф?
Ведь из видевших эти записи никто не знаком с этим почерком.
Слезы не только оросили щеки наши и даже утолили жажду,
но вы, лицезрев нас, не почувствовали это никак.
Слезами мы очищали глаза, но ресницам все равно,
Они, как и прежде, не охраняли нас от пыли, от страха, от сглаза,
закрывались, дергались, как и прежде.
Кто почувствует беды в издергавшихся наших глазах,
кто почувствует боли сердца в лицах наших, кто?
И если нет ответов на эти вопросы,
зачем людям-то надо наше лицо?
И если много тех, кто привык к лицам нашим,
может, вправду есть надобность их иногда скрывать?
Кто знает, может, и мы сами,
иногда посмотрев в зеркало, должны опешить,
может быть, и мы иногда
на самих себя должны посмотреть лицами чужими...



Дети рисовали на стенах... Среди них витал дух ушедшего их товарища, который мог бы говорить все это

Перо написало, чернила высохли, начало состоялось*, и потому сердце как сердце, цветок как цветок рисовать нам осталось, то есть рисовать должны были мы и на самом деле – слова. Молодому учителю нашему это неведомо было: он верил, что написанное можно тряпкой стирать; он верил, что все записи белы на черных досках; он верил, что у нас есть право поставить точки в конце предложений; он верил, что если есть вопрос, то должен быть у нас ответ. Но я каждый день по проспекту «Родина» пройдя – и по кривым улочкам, выходящим на этот проспект, под богатыми домами и хижинами, как пятна бросающимися в глаза на белом листе утра, читал очень печальные, черные записи, ни для куфия, ни для нэстэлига** их не уподоблял.

* В одном из исламских апокрифов говорится: «Аллах повелел перу написать судьбы миров. Теперь перо написало, чернила высохли. Это было в Предвечности»

** Куфий и нэстелиг – почерки в арабской каллиграфии



Девушка, что в середине не только махала рукой, но и думала

Когда люди собираются путешествовать,
когда они друг друга провожают,
они друг другу рукой машут.
В этом есть некое послание – «нельзя! нельзя!» –
смерти, закрывающей глаза, что играет в прятки с жизнью.
Может, таким образом даже сверяются записи,
написанные на наших ладонях, кто знает...
Посмотрите-ка, когда машут рукой зрелые люди,
они их выше головы не поднимают,
потому что они в уме,
потому что они с этими записями,
длиною в свои длинные жизни, знакомы,
потому что смерть глаза свои откроет все равно,
машут ли, не машут ли руками – она всех нас найдет.



Свидетельство человека в арочном проеме

Даже когда проходим не темными проемами, арками, дорогами,
мы всегда несем с собой свои страхи:
об этом знаешь только Ты,
ибо Ты всегда с нами,
ибо Ты есть отчасти сам страх.
Если мы даже захотим затоптать наши тени, то не сможем,
ибо мы есть идущие до исчезновения теней.
Долго ли? Об этом знаешь только Ты.



Грустная история тройняшек

Их трое, три сестрицы, тройняшки.
Еще детьми они влюбились в море:
Айтадж каждый раз, когда смотрела в море,
о золотой рыбке грезил сразу;
Гюльтадж верила, что утром однажды
на горизонте появятся алые паруса,
что прекрасный принц, статный красавец,
возьмет и увезет ее к другим берегам;
Заринтадж, глаз не оторвав от голубых волн,
всегда думала о подруге– русалке.
Однако ни паруса, ни подруга-русалка, ни рыбка золотая
их округу так никогда и не удивили, не вдохновляли,
только шестьдесят либо сто лир;
и одежда, пахнувшая водорослями, рыбами,
стала концом всех снов и грез девичьих.



Дедушка и внуки во время военного парада

Как бы не истерлись наши ноги, не устали бы колени,
не износилась бы, не протерлась наша одежда,
ни один солдат, ни один путник
не сможет перешагнуть через себя;
каждый телом своим себе граница,
а значит, и родина себе;
и никакой солдат не сможет нарушить эту границу;
и потому каждый путник есть покоряющий себя солдат,
а каждый солдат есть завоевавший себя полководец.

Уходить – всегда интересней тем,
что покидаешь место, где тебе было скучно и тоскливо, –
об этом сказал некогда безвозвратно ушедший поэт;
уходить – это забрать себя в неизвестные дали,
а об этом сказал поэт, который сам себе граница,
и который никогда никуда не уедет.
А как объяснить мне все это внукам? Может, вообще не объяснять?
Если это и не горе, то, конечно, печально.

Ведь они, эти дети, с глазами, как сливовые косточки,
еще очень маленькие;
все марши, демонстрации и военные парады –
для них всего лишь спектакль;
в их игре в войну, кроме слюны и пота, ничего не потечет;
со скоростью любви летят
из их деревянных оружий заикающиеся пули: дуф-дуф, тах-тах.
Все заброшенные места, включая Африку,
и соседние безлюдные дворы для них есть родина.
И если у этой родины, у этого мира, включая соседние дворы,
нет ни одного дня без боя и войны, то что такое мир? И где же он?
Может, война и мир есть настоящие имя и фамилия этого мира?
Но тогда все мы являемся детьми войны и мира,
персонажами; так же как и Толстой; так же как и ты, фотограф.
Ты так же, как все фотографы, являешься солдатом,
щелчком своей камеры умертвляющим, берущим в плен реальность.
В мирное время все-таки больше хочется смотреть на взятых в плен
солдат
и нарисованные картины баталий.

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть,
иногда ее надо немного закрыть черной занавеской;
зачернить цвета и пестроту этой, каждый раз называемой брэнной,
все равно кажущейся нам вкусной, как выпитый сладкий чай в дет-
стве, жизни;
и все равно мухи сядут на нее в конце.

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть:
на всех людей и вещи – то есть на жизнь;
не различая, надо видеть сквозь черную рамку;
самый правильный некролог этому миру есть сам мир:
все – и люди, и вещи, по сути, есть слово в черной рамке в самом кон-
це.

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть:
все равно жизнь как черно-белое фото, и нас
в этих фотографиях больше притягивает черный цвет, да, да, черный –
то вино, то слава, то чужие женщины, то деньги и власть.
Пусть тогда и жизнь сквозь черноту смотрит на чернь и белизну на-
ших глаз.

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть,
иногда. И мир этот только иногда есть мир, а иногда – война.
Если уж побывал на войне, то вначале испортится кровь, лишь потом
другие цвета.
Каждый день голос услышать захочешь: «Хватит!». Но самые горькие
истины,
оказывается, не словами произносятся, а грохотом; случается – взры-
вом и криком.

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть.
Особенно командиру роты. Потому что перед каждым боем
все солдаты похожи на коллективную фотографию в черной рамке;
и ты для них есть фотография, где в глазах невыносимая чернота,
в стекле которой каждый должен был увидеть только себя.

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть.
Все мы, десять человек, если и остались – то в живых, но только
черный страх, осевший в нас, никогда не покинет наши тела.

Про войну неправильно говорить, фотограф, надо молчать.
Не надо и снимки делать, потому что на войне дети умирают, дети.

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть. Иногда.
То есть на самом деле не надо видеть, фотограф, надо не увидеть.
После войны все равно задаешься вопросом: зачем воевал?
Я раньше скрывался от жизни, Ильяс, от солнца.
А сейчас увидевшие войну глаза слепого скрывают эти черные очки.





Ашот Бегларян

Родился в 1968 году. Автор нескольких прозаических книг. За второе место в литературном конкурсе, организованном Международным фондом «Великий Странник – Молодым», получил звание Магистра фонда (2006). В 2011 году повторно стал вторым призером этого же конкурса. В марте 2008 года награжден специальным дипломом открытого всеукраинского конкурса среди СМИ «Камрад, Амиго, Шурави». Живет в Степанакерте.

Культурное мероприятие,
или Рассказ о том, как немец двух кавказцев мирил

Спустя пару лет после установления хрупкого перемирия в зоне Карабахского вооруженного противостояния правозащитник из Германии Август Мюллер возгорелся желанием примирить хотя бы по одному представителю сторон конфликта и, недолго думая, выбрал себе в качестве подопытного материала своих коллег – карабахца Сурена Аскаряна и азербайджанца Рауфа Гаджиева, с которыми имел шапочное знакомство. Отправив приглашительные с подробной программой пребывания, где с немецкой педантичностью отметил даже то, сколько времени будет отведено утреннему и вечернему туалетам, он не без тревоги ждал ответа. Нервно похаживая по просторному кабинету своего трехэтажного особняка, Август, поправляя очки на переносице, куда съехались его светлые, едва заметные брови, размышлял: «Как бы чего не вышло... Не дай Бог еще дома у меня перегрызутся – тогда не миновать скандала... пожалуй, международного! Кто знает этих кавказцев?! Однако с другой стороны, чем черт не шутит, может, и премию мира дадут?»

Воодушевившись последней идеей, он все ободрял себя: «Должен же, в конце концов, кто-нибудь решиться и попробовать пробить стену недоверия!..»

Нервничала вместе с ним супруга – фрау Кэтрин, которая все ломала голову над тем, как преподнести в лучшем виде немецкую кухню и вообще немецкие манеры... «Оценят ли эти горцы мои старания?» – думала она.

Признаться, они не особенно верили в успех затеи и даже сомневались, что гости из далекого Южного Кавказа вообще согласятся приехать, чтобы стать объектом достаточно рискованного эксперимента...

Но спустя две недели Сурен и Рауф сидели как ни в чем не бывало, в гостиной у Августа. Немец предупредительно расположился между кавказцами, бросая напряженно-настороженный взгляд то на одного, то на другого.

– Ну, надеюсь, вы подружитесь, – как бы сомневаясь, наконец произнес он, поерзав в своем кресле.

Кавказцы переглянулись и скромно опустили головы.

Фрау Кэтрин принесла на подносе кофе и, расставляя чашки, вопросительно и немного испуганно посмотрела на супруга, пытаясь догадаться по выражению его лица, как продвигается эксперимент. Но лицо мужа в этот момент было каменным и бледным.

– Итак, господа, напоминаю программу пребывания, – откашлявшись, немец заговорил более твердо и уверенно.

Минут с десять он читал длинный список предстоящих, до боли знакомых южанам мероприятий: подъем, физзарядка, утренний туалет, завтрак, беседа на тему о толерантности...

– А культурное мероприятие будет? – неожиданно спросил Сурен, незаметно подмигнув азербайджанцу.

Тот столь же незаметно улыбнулся.

– Культурное мероприятие? – Август недоверчиво сощурился.

– Да, – невозмутимо произнес застрельщик, для предметности нарисовав ладонями в воздухе что-то грушевидное.

Вновь собрав у переносицы невидимые брови, немец, подумав, ответил:

– А что, можно. Придумаем что-нибудь... А пока прошу подготовиться к обеду. У вас, – он посмотрел на часы, – 13 минут.

– А покурить можно? – спросил Рауф.

– Только в саду. Там на столике находится пепельница, а под деревом – три бака для мусора. После того как покурите, пепел и окурки выбросьте в бак с неэкологическим мусором. Он стоит посередине...

Спустившись без особого энтузиазма в сад, кавказцы нашли загадочную пепельницу. Закурили, выпустив из себя на вздохе облегчения легкие, беззаботные кружочки дыма. Лишь после того, как, следуя инструкции, аккуратно стряхнули пепел в пепельницу, они заметили, что немец наблюдает за ними с балкона. Тот, терпеливо выждав, когда кавказцы закончат курить и потушат окурки, для верности еще раз подсказал местонахождение бака с неэкологическим мусором...

Когда курильщики вернулись, Август почти угрожающе поднял указательный палец:

– Через три минуты – обед.

В соседней комнате фрау Кэтрин уже накрыла на стол. Было все: разные колбасы, ветчина, жареные мясо и картошка, пиво. Но не было самого главного для жителя Кавказа... Догадались? Ну конечно же – хлеба. Вернее, он был, но в очень малом количестве и только черный. К тому же был нарезан тонко, как бастурма. И каждый раз, когда Сурен с Рауфом, опуская в смущении глаза, просили у хозяйки еще ломтик хлеба, они втайне взывали к Всевышнему, чтобы фрау Кэтрин случайно взяла ножом чуть левее, ну хотя бы на полсантиметра... Потом «камрад» (так между собой кавказцы называли Августа) объяснил им, что белый хлеб в Германии покупают только приезжие, и стоит он дешевле черного.

– А так, мы не злоупотребляем хлебом, – с некоторым упреком заключил немец. Наскоро отобедав, фрау Кэтрин извинилась перед гостями, оделась и вышла.

– На дежурство в больницу, – объяснил Август и начал собирать посуду со стола. Переглянувшись, кавказцы стали помогать ему.

– О, раз вы хотите пособить мне, то давайте распределим роли, – деловито произнес немец, надевая передник и профессионально завязав у себя за спиной тесемки бабочкой. – Сурен, возьмите полотенце, а вы, Рауф, подавайте мне грязную посуду.

– Ты дома моешь посуду? – улучив момент, прошептал Рауф Сурену.

– Нет, у меня жена, дочь... бабушка, – удивленно ответил тот.

– Вот бы посмотрели на нас краешком глаза наши благоверные...

Позже выяснилось, что в семье у Августа, как впрочем, и по всей Германии, это в порядке вещей. Проявляя «мужскую» солидарность с Августом, кавказцы, меняясь ролями, каждый день, сначала неуклюже и уныло, затем все искуснее и охотнее возились с тарелками у мойки.

Ужинать немец повел своих подопечных в ресторан. Кавказцы, в знак солидарности друг с другом и стирания религиозных границ, заказали свиные ножки (фирменное блюдо этого заведения). Они были гигантских размеров.

– Наверное, такие свиньи жили в эпоху динозавров, – пошутил жизнерадостный Сурен, но внезапно сник, так как к собственному ужасу обнаружил, что на столе отсутствует хлеб.

Он отодвинул тарелку и наотрез отказался кушать, заявив, что без хлеба не сможет осилить эти громадные ножки. После долгих и нелегких раздумий «камрад» позвал официанта и, отвернувшись, показал на Сурена пальцем, сказав, что «он хочет хлеба». Оглядев с нескрываемым любопытством необычного клиента, официант несколько смущенно улыбнулся и, произнеся «яволь», направился в сторону кухни. Через некоторое время он принес и поставил перед Суреном большую корзину с белым и черным хлебом. Все посетители ресторана смотрели на Сурена с недоумением. Последний же, оглядевшись, только тут заметил, что ни на одном из столов хлеба нет. Однако от такого конфуза ни один мускул не дрогнул на лице у блюстителя кавказских традиций. Сурен пожалел Рауфа и дал ему ломтик, хотя тот его не поддержал, когда он, отбросив стыд, потребовал хлеба. Во все время ужина Август сидел вполоборота к Сурену, как будто он был не с ним. Когда необычный гость поел, официант, убрав посуду, подал ему кофе, однако корзину с хлебом оставил...

На обратном пути немец, все еще не оправившийся от стыда, долго объяснял своим гостям, что у них принято кушать ужин отдельно, а хлеб – отдельно, и что хлеб и ужин – понятия несовместимые. Сурен не хотел понимать его. Рауф вежливо отмалчивался.

Как только вошли в дом, Август произнес:

– Заранее предупреждаю, что Сурен будет спать на первом этаже, а вы, Рауф – на третьем. Мы с Кэтрин будем посередине.

Кавказцы еле сдержали смех.

Так прошло два дня. Кавказцы приучались к устоявшемуся, расписанному до мелочей немецкому быту, а немец – к их странностям и капризам. Однажды, будучи в настроении, хозяин подсунул Сурену безалкогольное пиво. Тот пьет, пьет, а «прихода» нет... Немец радовался своему розыгрышу как ребенок.

– То-то, и я умею веселиться! – довольно повторял он сквозь смех.

На третий день кавказцы сплели небольшой заговор, попросив Августа разрешить им одним выйти в город. Еле удалось уговорить. Они направились в ближайший ресторан. Сурен предупредительно положил во внутренний карман пиджака бутылку припасенной тутовки. Его не испугала вывеска, на которой почему-то на русском было выведено большими и неровными буквами: «Приносить с собой и распивать спиртные напитки категорически воспрещается! Штраф ... марок».

Пока Рауф, достав карманный словарь, возился с меню, пытаясь разобратся в длинном перечне блюд, Сурен, посмотрев сбоку на застывшего в профессиональной позе официанта, на его характерный профиль, тонкие, коротко стриженные усы, произнес на азербайджанском языке, которым владел не хуже родного:

– Турок?

Дернулись тоненькие усики, официант оживился...

Когда он принес текилу и пошел за шашлыком, Сурен незаметно вылил содержимое рюмок в цветочный горшок на подоконнике и, не вынимая бутылку из кармана, наклонившись, разлил тутовку. Официант никак не мог понять, почему с каждым его приходом рюмки были полные, но лица гостей – все краснее...

На следующий день, после лекции о толерантности, во время которой южане клевали носом, Сурен, пошептавшись с Рауфом, сказал Августу: – А про культурное мероприятие не забыли?..

Вопрос не застал немца врасплох, но он призадумался.

– Сейчас посоветуюсь с женой.

Кавказцы покраснели, попытались остановить его, но он уже звал свою прекрасную половину.

– Вот тебе демократия и равенство полов! – прошептал Рауф Сурену.

С минуту немец шептал что-то на ухо жене, которая не спускала с гостей серьезного, изучающего взгляда. Затем уже Кэтрин стала что-то объяснять супругу и, выслушав ее, Август торжественно произнес:

– Собирайтесь! Придется ехать в соседний город.

Радость кавказцев не знала границ. Сурен весело подмигнул своему потворщику. Быстренько побрились, помылись, надушились, приоделись....

Сойдя через пару часов с электрички, заказали такси. Рауф и Сурен все думали, зачем для «этого» так долго ехать? Но в предвкушении удовольствия готовы были терпеть все неудобства.

Такси встало неподалеку от большого светлого здания. Пройти к нему пришлось через небольшой ухоженный парк.

– Ты посмотри! – неожиданно воскликнул Сурен, показывая в сторону пруда.

– Ух, ты-ы! – восторженно откликнулся Рауф.

Переваливаясь, покачивая жирными ляжками, к пруду, где мирно плавала ее подруга, шла утка, не подозревая о том, что стала объектом нездорового интереса.

– Что стали? – спросил немец с упреком.

– Утки! – мечтательно произнес Сурен, провожая птицу плотоядным взглядом.

– Ну и что?

– Деликатес! – произнес Рауф.

– И у вас это съели бы? – изумленно и почти гадливо произнес немец.

– Конечно!

– Так ведь в магазинах продается.

– Но ведь это дичь... – Сурен стал объяснять немцу.

– Дикари! – бросил немец, не дослушав его, и ускорил шаг.

Посмотрев на здание и почуввав недоброе, Сурен встревоженно спросил у Августа:

– Куда вы привели нас?

Примерно такие же чувства раздирали душу Рауфа. «Тоже мне – Сусанин!» – думал он.

– А что вы хотели? – недоуменно спросил немец.

В ответ, как по команде, Сурен и Рауф нарисовали в воздухе пышные женские формы: первый – груди, второй – бедра.

– А-а, вот что вы хотите?! – Август словно разоблачил шпионов. – Это исключается! У меня хорошая репутация. Да и проектом не предусмотрено – фонд за «это» платить не будет.

Все еще не теряя надежды, что это шутка, и немец просто заигрывает с ними, кавказцы уныло вошли в здание.

– Начнем с третьего этажа, там интереснее, – предложил Август.

Вышли из лифта, вошли в широкую дверь.

Странная картина предстала взору опеших кавказцев. Вернее, картины. Они расплывались перед глазами: бесформенные пятна яркого цвета пересекались какими-то кривыми линиями. От разнообразия цветовых сочетаний, геометрических форм, плоскостей, прямых и ломаных линий кружило голову...

– Бардак! – невольно вырвалось у Сурена.

– Хуже! – ответил ему Рауф.

Да, дорогой читатель, ты, наверное, догадался: это был музей абстракционизма. Что еще оставалось делать бедным искателям приключений, как послушно ходить по всем этажам, внимательно осматривать странные и непонятные им экспозиции и попытаться найти в них логику? Сперва делали вид, что интересно, а потом так увлеклись, что не пожалели про «культурное мероприятие»...

Когда ждали электричку, кто-то пролаял в громкоговоритель на перроне: «Ахтунг, ахтунг!», затем возбужденно добавил еще что-то. Сурен с Рауфом перепугались, понимая, что «ахтунг, ахтунг!» не сулит ничего доброго. Первое, что пришло в голову Сурену – начинается бомбардировка, и нужно бежать в подвал. А тут Рауф с бледным лицом вдруг говорит тихо: «Война! Немцы напали на Россию...».

«Камрад» успокоил своих попутчиков, объяснив, что электричка запаздывает, по пути следования случилось небольшое ЧП. Придя в себя, Сурен спросил у Рауфа, почему тот решил, что немцы напали на Россию? Но Рауф толком так ничего и не ответил, сказав, что это первое, что пришло ему в голову. Впрочем, оно и понятно, мы бывшие советские люди, насмотрелись фильмов про войну 1941-1945 годов, и слыша слово «ахтунг», думаем, что началась война. А войн в наш век – хоть отбавляй, они давно уже перешли с экрана телевизора в реальную жизнь, став, увы, обыденностью...

По возвращении Август со сдержанным смехом рассказал жене о «культурном мероприятии», и та получила колоссальное удовольствие от такой «накладки»...

Неделя в Германии приблизилась к концу. В последний день гости в знак благодарности решили прибраться в саду у Августа. В ход пошли лопаты, грабли. Когда собрали в кучу сухие ветви, у Сурена появилась идея зажарить настоящий кавказский шашлык и угостить напоследок хозяев. Поделились этой мыслью с немцем. Он озабоченно спросил:

– А что будем зажигать?

– Сухие ветки.

Пауза. У хозяйина появилась характерная напряженная складка у переносицы, не предвещавшая ничего хорошего.

– У нас же нет шомполов...

Но отговорка не вышла.

– Можно пару веток с дерева срезать – вот тебе и шомполы, – вдохновенно парировал Сурен.

– Надо у жены спросить, – поблуднев, сказал Август и пошел в дом совещаться.

Вернулся он еще более озабоченным:

– А если в камине зажарим?

Наступила неловкая пауза.

– Понимаете, у меня репутация... Кроме того, соседи могут упрекнуть меня в том, что я не только эксплуатирую приезжих, но еще и экологию загрязняю...

Прощаясь в аэропорту, Сурен и Рауф с кавказской готовностью приглашали Августа с супругой в гости. Немец, довольный тем, что эксперимент прошел без эксцессов, обещал непременно приехать...

В самолете Сурен несколько раз просил стюардессу принести дополнительно хлеба. После пятого раза та сердито сказала, что хлеба больше нет, хотя первые четыре булочки принесла с милой «понимающей» улыбкой.

Сурен смотрел в иллюминатор, забылся. Снились нарядные парки, дома в готическом стиле, доброе, но озабоченное и подернутое легкой грустью лицо Августа... А очнувшись, нашел себя крепко прижимающим к груди булочку хлеба.

Когда выходил из самолета, все было как в тумане, нереально, словно в музее абстракционизма... Но вдруг кто-то наступил ему на ногу и, вырывая у него дорожную сумку, крикнул в ухо:

– Брат, куда надо? Скажи, довезу!

Сурен понял, что он уже дома, и на душе стало тепло и спокойно...

Перевод Анаит Татевосян

По мере того как региональный семинар представителей неправительственного сектора стран Южного Кавказа приближался к концу, все более непосредственным становилось общение его участников, особенно в кулуарах. Между ними установились какие-то свойские, домашние отношения, несмотря на то, что конфликты между их государствами еще не были урегулированы, а атмосфера в обществах сторон была далека от идеальной.

Однажды после ужина участники семинара собрались в холле гостиницы, и Ваграм, представитель Нагорного Карабаха, начал рассказывать историю своего знакомого Салима:

– Это был импозантный, богатый и щедрый молодой человек. Ходил в светлом импортном костюме, был всегда опрятен, чисто выбрит, от него пахло дорогими духами, туфли блестели. Он заведовал крупным универмагом – вы прекрасно знаете, что означало это в советское время, когда хороший товар продавался из-под прилавка. Короче говоря, мой приятель преуспевал: у него были великолепные связи, ради дефицитного товара к нему шли на поклон власть имущие и самые известные люди города. В то же время Салим был простодушным, а порой – наивным до невозможности. Наверное, поэтому все мы звали его Салимчиком. Да и сам он нередко называл себя так, часто говоря о себе в третьем лице. Ваграм почувствовал, что его слушают с любопытством и, вобрав в легкие запас воздуха, продолжил:

– Салимчик был женат на низенькой невзрачной женщине, данной ему судьбой, словно по иронии. Впрочем, он пошел на такой брак, не желая обидеть горячо любимую мать: Гюльнара, которую ему настойчиво сватали, была дочерью ее близкой подруги. Как джентльмен, Салимчик уважал свою жену, одаривал ее золотом и бриллиантами, шикарно одевал. Но он не любил Гюльнару. На его лице неизменно были написаны скука и тоска. Но вот однажды Салимчик расцвел, словно весенним ветерком разогнало тучи на его лице...

Ваграм замолчал, обвел взглядом присутствующих. У всех на лицах был неподдельный интерес. Но взор его остановился на соседе по гостиничному номеру – Арисе, который уставился на него со странным, каменным, как показалось Ваграму, недобрым выражением. Глаза его были неестественно выпучены, а губы вытянулись, образовав трубочку.

– Вы наверняка догадались, дорогие друзья, что наш Салимчик влюбился. Она была длинноногой красавицей-блондинкой со знойным взглядом. Я однажды случайно видел их вместе в городе. Когда мы

приблизились, Салимчик незаметно подмигнул мне, давая понять, что не собирается знакомить с подругой, и я сделал вид, что не знаю его. Разумеется, я не мог не оглянуться, а посмотрев назад, поразились ее стройности – таких девушек я не видел даже по телевизору. Выйди она на подиум, непременно обставила бы всех манекенщиц. Но и Салимчик не терялся на ее фоне – он был высок, широкоплеч. Некоторая сутулость и рыхловатость не портили его. Честно говоря, я позавидовал своему приятелю – откуда он откопал ее? Впрочем, на счастливую парочку оглядывались все прохожие.

Ваграм перевел дыхание и невольно покосился на Ариса. Лицо его по-прежнему было неподвижным, лишь еще больше вытянулось в сторону рассказчика. Глаза же горели каким-то нездоровым блеском. Ваграм отвел взгляд и поспешил продолжить:

– Увы, их идиллия длилась недолго, примерно год. За это время я видел Салимчика еще один раз. Он спешил куда-то с огромным букетом цветов. Мы успели лишь поздороваться и переброситься на ходу парой общих фраз. Затем он побежал, опять заговорщицки подмигнув, сел в свою черную «Волгу» и, круто развернувшись, уехал. Он был счастлив. Это было написано на его лице: здоровый румянец, лучики радости в уголках глаз, умиротворенный лоб. Это выражалось в его энергичных, полных жизни движениях. Но однажды, когда я совершал свой обычный вечерний моцион по городу, кто-то позвал меня. Я обернулся... и не узнал его. Вернее, я, конечно же, узнал его, но это был совершенно другой человек: Салимчик поседел, неестественно осунулся, был небрит, весь какой-то поникший. Пиджак сидел на нем мешком.

– Что с тобой? – не удержался я.

Он отчаянно махнул рукой и пригласил меня в ближайшее кафе. Салимчик был глубоко несчастен, и я, естественно, догадался о причине, но не спешил убрать со своего лица знака вопроса. Заказав официанту пирожное и кофе, а мне лично – коньяк с лимоном (Салимчик знал о моем пристрастии), он сразу же начал, будто я был в курсе всех его дел: – Объясни мне, пожалуйста, чем я обидел ее? Купил ей квартиру в центре города, обставил дорогой мебелью, одарил бриллиантами, устроил родственников на работу у себя в универмаге. Салимчик – нежадный человек, весь город об этом знает! И вот такой удар в спину! А говорила, что любит. Выходит, морочила мне голову... А я любил ее больше жизни.

– Ты о ком? – я сделал вид, что не понимаю о чем речь, и уж точно зная, что не о жене говорит.

– Да ты угощайся, возьми пахлаву, – безвольные складки на лбу у Са-

лимчика, опущенные уголки рта, дрожащие пальцы отражали его крайне подавленное внутреннее состояние. Он старался унять дрожь, перебирая четки, которые постоянно носил с собой. – Я об Олечке... Ах да, я же не познакомил тебя с ней. Вот штучка: страстная, горячая как огонь! Такой у меня еще не было... Ты кушай-кушай, выпей рюмочку. Я не могу, извини, нездоров...

Салимчик долго рассказывал о счастливых днях с Олей, все растягивая печальный финал, о котором я изначально уже догадался интуитивно. Наконец он начал, вобрав голову в плечи:

– Месяц назад чисто мужской компанией отмечали день рождения однокурсника. Выехали за город, в прибрежный ресторанчик «Эдем». Туда едут все, кто хочет немного отдохнуть от городской суеты и оградить себя от любопытных глаз знакомых. Так вот, в середине застолья из соседней кабины послышался знакомый звонкий смех. Ну, думаю, показалось: перебрал Салимчик спиртного, звуковая галлюцинация – тем более что я постоянно думал о ней. Через минуту смех повторился. Я вскочил, выбежал и распахнул дверь кабины напротив... Ноги мои подкосились. Пока гримаса смеха на лице моей Олечки менялась маской ужаса, я потерял сознание, не успев даже разглядеть ее друга... Пришел в себя только в больнице...

Салимчик неожиданно всхлипнул. Мне стало не по себе, я прятал свой взгляд, стараясь не смотреть на его жалкое бледное лицо и воспаленные глаза. Потом я сделал несколько неуклюжих попыток успокоить его. Впрочем, я был недостаточно искренен в отношении самого себя, намекая на то, что не в постели же застал Салимчик свою любимую – может, измены-то и не было? Но он и слушать меня не хотел, все повторяя:

– А Салимчик любил ее больше жизни...

Когда Ваграм замолчал, нависла тягостная тишина. Первой нарушила ее Нонна, правозащитница, старая дева и не улыба:

– Так ему и надо! Женился, не заглядывайся на чужих красавиц: в одной руке два арбуза не удержишь.

– Да что вы понимаете?! – возразил ей Ираклий, импульсивный молодой человек. – Нельзя же каждый день борщ кушать, иногда хочется и шашлычка попробовать.

– А как потом сложилась жизнь Салимчика? Ты видел его после этого? – спросил Руслан.

– Нет, но говорят, что спился, потерял все свое состояние.

В общем, банальный печальный конец.

– Жалко Салимчика, – вздохнула Аида...

Никто не остался равнодушен к судьбе Салимчика, кто-то сочувствовал ему, кто-то критиковал и упрекал его в слабохарактерности и безволии. Только Арис молчал. Лицо его было серьезно-застывшим. Чувствовалось, что за этой, казалось, непробиваемой миной идет серьезная внутренняя борьба. Но Арис не проронил и слова...

Уже далеко за полночь под впечатлением рассказа Ваграма люди разошлись по своим номерам.

Всю ночь Арис ворочался в постели: что-то явно мучило его.

Спросонья Ваграм услышал его бормотанье: «...В жизни быдло всегда берет верх над интеллигенцией. Бедный Салимчик стал жертвой хамства и продажности...»

«При чем тут интеллигенция?» – невольно спросил сам у себя Ваграм и, не ответив, углубился в сон. Он не знал о том, что Арис, сорокалетний холостяк, сам пережил нечто подобное в ранней молодости...

К утру Ваграму показалось, что кто-то зовет его, но откликнуться не было сил. Еще через минуту он почувствовал, как что-то давящее стремительно приближается к нему.

– Ваграм! Ваграм!! Ваграм!!! – по нарастающей, словно пытаясь спасти умирающего, звал Арис, приближаясь к своему соседу по номеру.

Ваграм вскочил, сел на постели, увидев в лучах восходящего солнца знакомое до боли застывшее лицо и воспаленные глаза.

– Что случилось? – испуганно спросил он.

– Бедный Салимчик!.. – произнес Арис, всхлипнув.

Ваграм не поверил своим ушам, протер глаза – ему это казалось продолжением сна.

– Что?!

– Салимчика, говорю, жалко...



Надежда Венедиктова

Автор нескольких поэтических и прозаических книг. Обозреватель сайта asarkia.info. Живет в Сухуме.

Сухумский драйв образца 80-х

Мушни Хварцкия и Адгуру Инал-Ина

Когда-то турки называли Сухум старым Стамбулом – это был восточный комплимент, подчеркивающий органичность сухумских кофеен. Даже в ранний советский период, когда массовый энтузиазм ценился больше, чем непринужденная беседа, сухумчане умудрялись оттачивать свою индивидуальность за чашкой черного кофе.

Чашка кофе в приморском городе, между горизонтом и цепью холмов, отдает свой аромат не только бризу, но и общению.

В начале 60-х годов XX века в сухумском кофепитии открылась новая эпоха – по инициативе Михи Бгажба, жизнелюба и первого секретаря Абхазского обкома КП Грузии, была построена «Амра», возвышающаяся над водой на сваях двухпалубная имитация парохода с рестораном на первом этаже и кофейней на втором. Расположенная между двумя причалами – катерным и пароходным, «Амра» добросовестно коптила небо, добавляя кофейный дымок в мировое братство судов.

Довольно быстро кофейня с круговым обзором залива и побережья стала любимым местом сухумской богемы, где в непрерывной круговерти общения собирались те, кому размеренный курортный быт в советской упаковке был тесен – здесь импровизировали, подвергали сомнению устоявшиеся ценности, рождали остроты, обходившие весь город, и травили анекдоты, за которые еще десять лет назад могли усадить в Сибирь.

«Амра» трепетала чуть сбоку от города, как бабочка на кофейной привязи, в любое время летних суток здесь можно было встретить своих или чужих, готовых к глубокому трепу; можно было погрузиться в одиночество, обернув лицо к заливу – мгновенья обнаженного стояния перед настоящим.

Сюда приводили приезжих гостей, чтобы сразу окунуть их в свою атмосферу – бакинские джазмены играли здесь в 60-х полузапрещенный рок, чуть позже стали появляться московские диссиденты, Искандер и Андрей Битов тусовались с местными литераторами и почитателями, все дороги вели на «Амру», и градус незаурядности на один квадратный метр здесь был выше, чем на остальном побережье.

Вечность здесь была уютной, обжитой, почти домашней, во всяком случае, ее присутствие в разговоре было безусловным и придавало общению слабый привкус архаики и шарм кругосветного путешествия. Цитата Бродского «Раз уж довелось в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря» была на слуху и даже висела на стене

нескольких рабочих кабинетов, подключая нас к братству внутренних эмигрантов. Но провинцией мы себя не ощущали – помимо курортного сквозняка, разнообразившего общение, в городе был университет, институт абхазоведения, несколько крупных научно-исследовательских учреждений союзного значения, театры, музеи, и возможности личного роста открывали перед каждым заманчивые перспективы.

Еще в середине 80-х СССР казался незыблемым, как скала, вид с которой простирался на десятки тысяч километров – тягучая, вялая стабильность засасывала и превращала будущее в простое отражение настоящего. Эпоха застоя обладала особым видом неподвижности – казалось, что ничего не происходит, историческое время течет, как равнинная река, и даже лень в этом контексте завораживала своей значительностью и глубиной залегания в повседневности.

Но уже повеяло духом либерализма, и «Амра» учуяла его раньше других – мы не очень одобряли советскую власть, и «Амра» была легкой фрондой, дистанцирующей нас от бесконечных профсоюзных собраний и партийных лозунгов с экрана и плакатов. А сверкающая чаша неба и солнечный свет, заливавший роскошь человеческого общения, блики на поверхности залива и наша молодая энергия, в которой пенилась жажда свободы, превращали эту фронду в художественную вязь жизни, приподнимающей над землей.

Наша компания была разнообразной – художники, поэты, историки, археологи, архитекторы, журналисты, музыканты, психологи и просто светящиеся личности, ищущие себя в непрерывном потоке впечатлений. Внутренняя иммиграция позволяла оттачивать независимость, а дружеское общение расширяло ее границы – силовое поле личности органично встраивалось в свето-воздушное человеческое пространство над заливом и берегом.

Иногда просто беседовать с умным человеком было таким изощренным удовольствием, что казалось, будто воздух вокруг нас пропитан мыслью и чувствами – одухотворенный кусок пространства излучал магию глубокого общения, оставляющего в вечности неизгладимый след.

Я до сих пор во время прогулок натываюсь лицом на наши беседы с прозаиком Алексеем Гоголем, которые уже десятки лет незримо кочуют по набережной, соприкасаясь с другими личностными следами, оплодотворяющими городскую атмосферу.

Выросший в деревне и пропитанный книжной мудростью, Гоголь сохраняет в себе живое равновесие между природой и культурой, что ощущается во время общения – за его спиной дрожит плодовый сад, где

ветки гнутся от тяжести яблок и груш, а перед собеседником разворачивается свиток, в котором события родной истории сплетаются со средиземноморскими реалиями, и собственный жизненный опыт кладет на все свою метку.

Незабываем июльский вечер, который мы провели на «Амре» с Ларисой Аргун, прелестным человеком, в котором агрессии было меньше, чем в одуванчике – ее мягкость и открытость создавали ауру чудесной незащищенности, в которой лев и ягненок пили из одного ручья. Мы обменивались редкими словами, поглощенные пиршеством заката – гладь залива отражала не только расплавленное золото солнца, но и нежнейшие салатные, розовые, голубовато-фиолетовые тени, скользившие по горизонту.

Мы растворились в этом великолепии, ощущая даже затылком слабое прикосновение жемчужных сумерек, наплывающих с берега – перед моим дружеским взглядом Ларискина душа светилась, как озеро, отражающее вечернее небо и лицо собеседника.

Даже краткий визит на «Амру» оставлял ощущение полноты жизни, особенно в летние полгода, когда помимо завсегдатаев здесь непрерывно мелькали незнакомые лица и интонации – это был праздник неформального общения, свободного от идеологии и штампов,

Забегать на десять минут, чтобы найти нужного человека, а заодно охватить взглядом всю человеческую круговерть – за одним столиком поэт и историк Станислав Лакоба угощает кофе и колоритным рассказом московского германиста-диссидента Льва Копелева и его жену; неподалеку Лиана Кварчелия щебечет с подругами, а на ее узком лице под густыми кудрями счастье от того, что вся жизнь впереди; рядом врач, чемпион мира по стрельбе из пистолета и вдохновенный автор невероятных сюжетов Марлен Папава рассказывает очередную байку Лене Заводской, благодарное внимание которой превращает это в ослепительную реальность, а за соседним столиком напропалую кокетничает с кем-то журналистка Юлия Соловьева, блистающая в любое время года обнаженными великосветскими плечами.

В углу, отвернувшись к морю и поставив ноги на нижний поручень перил, смакует кофе с коньяком художник Женя Котляров, не без оснований считающий себя первой фигурой города – карате развернуло его грудную клетку, и физик по образованию и литератор по призванию Игорь Гельбах, знающий лично всех знаменитых евреев СССР, включая астрофизика Шкловского и художника Гришу Брускина. Они постарше и взирают на наше веселье с высоты жизненного опыта их нонконформизм умудреннее на эпоху оттепели.

Взрывы хохота доносятся с отдаленного стола, где пикируются писатель Даур Зантария и физик-штангист Руслан Джопа по прозвищу Пуся – их дружба напоминает непрерывные взрывы шампанского, лишь бы была публика, способная оценить их импровизации.

Молодость неслась в наших жилах, как горная река, не выносящая препятствий, и выдавала жизнь экспромтом, свежесть которого делала неповторимыми все извивы действительности.

Летом на улицах и набережной царил кавказский понт, сочетающий рыцарственную галантность с легкой блатизной и уверенностью в собственной неотразимости – мужская часть населения трансформировала образ джигита в победоносного курортного ухажера, и возможность отметиться в этом пошловатом облике-облаке манила многих. К нашей компании это не имело отношения, хотя иногда кто-нибудь мог обыграть эту роль, чтобы насмешить или приколоться к ситуации.

Конечно, флирт, особенно вечерний, когда прохлада манила к заливу толпы, превращая набережную в карнавал, играл особую скрипку – роковые взгляды приезжих красавиц и местных кавалеров скрещивались в назойливом аромате олеандров и высекали искры, прожигавшие воздух. Нарядная толпа фланировала по набережной, закручиваясь в отдельные потоки, направлявшиеся к кофейным столикам, и хриплый голос Челентано пел о любви, оседавшей, как морская соль, на загорелую кожу.

В этой атмосфере амурного кайфа мы шли своими тропами, с благосклонной снисходительностью взирая на отпускной разгул страстей – ничего не попишешь, юг, курорт, субтропики. Чувственный угар лишь оттенял подлинность тех чувств, которые случаются на каждой широте, если люди способны к глубокому переживанию.

Одно из воспоминаний пленяет меня богатством неуловимых оттенков, высвечивая солнечным лучом Арду Инал-Ипа, ум и утонченная красота которой держали поклонников на дистанции, вмещавшей весь спектр целомудренного поклонения. Оно не было явным, как внешняя куртуазность средневековых рыцарей – традиционный абхазский этикет в этом отношении диктует сдержанность, но просвечивало во взглядах и отношении, мельчайших жестах, интонации, с которой предлагалась чашка кофе или шоколад.

Любопытно было наблюдать, как внимание друзей и приятелей переливается тончайшими градациями чувств, среди которых восхищение, инстинктивная попытка отступить назад, чтобы не обжечься, что Арда не кокетлива и не посылает сигнал, который позволил бы сделать первый шаг, иногда раздражение и колики мужского эгоизма, иногда

бескорыстный дар-вдох «Живи вечно!» – каждый вел свою тему-мелодию в меру своего огня и великодушия.

Аура общего чувства сопровождала Арду незаметно, как запах неведомых цветов – она почти не замечала этого и тем самым усиливала целомудренность пространства, в котором, как в любовном стихотворении, сливались томление и небо.

Однажды мы пришли на «Амру» с моей старшей подругой из Москвы Евгенией Власовой, вдовой академика Харкевича. Скоро подтянулись Мушни Хварцкия, Арда и еще несколько приятелей – устроив общий столик, мы устроились с непринужденностью южан, готовых провести в неге долгие часы, наслаждаясь общением.

Когда через пару часов мы с подругой ушли, то уже через несколько метров, Женечка живо спросила: «Все поголовно влюблены в Арду?» Мой ответ, что никто не решается на это, вызвал удивление. Несмотря на сильный характер и род занятий – в 60-е Женечка, кандидат математических наук, руководила в Вычислительном центре Генштаба СССР отделом, который планировал военно-воздушные операции на Пентагон, моя подруга знала толк в изощренном кокетстве и умела кружить мужские головы даже в зрелом возрасте.

Оглянувшись на оставшуюся компанию, она испытующе посмотрела на меня и потом долго молчала – видимо, вспоминала свое чувство к Харкевичу, смерть которого на два года выбила ее из колеи. Подобная переключка чувств составляет для меня одно из чудес жизни – ничто не проходит бесследно, невидимая эмоциональная вязь пронизывает всю историю человечества, и чей-нибудь страдающий взгляд десяти-тысячелетней давности откликается в наши дни.

Силовое поле личности не исчезает, как порыв ветра, а пронизывает пространство далеко за пределами физической оболочки – силовое поле «Амры» включало наши индивидуальные молнии и искрило над побережьем, как постоянная освежающая гроза.

Летом мы могли поехать на несколько дней на одну из археологических стоянок, где копали наши друзья, – в Тамыш или Хуап. В Тамыше помимо радостей отдыха на берегу моря прельщала возможность вылепить из местной глины зверушку или крохотный сосуд и тут же обжечь его в небольшой печи. Хуапская археологическая стоянка располагалась в предгорьях, и там было маленькое чудо – природная купальня в ручье, окруженная густыми зарослями самшита. Можно было уединиться и купаться голышом в холодной воде, что в летнюю жару было наслаждением, от которого ломило зубы, а душа переселялась в кустарники. Хуапскую экспедицию возглавлял Мушни Хварцкия, специалист по

палеолиту – шапка черных кудрей и смоляная борода обжигали худое лицо и ловкое мускулистое тело, выделявшее его среди городских жителей. Выучившись в Ленинграде, он, как многие из нас, еще долгое время сохранял связи с городом студенческих лет и жил на две площадки. Часто приезжали его ленинградские друзья, участвовавшие в раскопках, подъезжали мы, дилетанты в археологии, и простая жизнь под открытым небом, сдобренная поисками прошлого, струилась щедро, одаряя волчьим аппетитом и крепким сном.

Однажды мы с Мушни проснулись раньше всех и пошли прогуляться. За городом Мушни двигался стремительнее и напоминал охотника, постоянно держащего ухо наготове. Он показал мне глубокую пещеру, и, порывшись в углу, я нашла огромный зуб – пещерный медведь, сказал Мушни, около десяти тысяч лет, классная вещь. Через год я подарила этот зуб в Будапеште своему приятелю-булгаковеду Ласло Халлеру, теперь жалею – сейчас можно было бы согреть в ладони этот кусочек нашей прогулки.

В декабре 92-го Мушни, ставший командующим Восточным фронтом, погибнет от взрыва гранаты – на вершине холма ему вышел навстречу незнакомец в военной форме, кавказская внешность не позволила понять, кто это – абхаз или грузин, Мушни продолжал идти и ушел из нашей жизни взрывной волной одиночества, оставившей нам тоску и вечную загадку – может ли не погибнуть на войне рыцарь, всегда идущий впереди?

Иногда мы уходили в выходные на Чумкузбу, чья двухкилометровая вершина видна из некоторых районов Сухума, чтобы просквозить себя молчанием гор и физической усталостью. В пятницу вечером мы уезжали на автобусе мимо Каман, через полтора часа высаживались у кукурузного поля, откуда спускались в пропасть, поросшую вековым самшитом, – здесь купались в реке, а потом два часа поднимались к хижине Тиграна. Этот сухощавый пожилой армянин, чьи родители бежали в Абхазию от армянской резни в Турции, после семидесяти ушел из дома и поселился один на высоте 800 метров над уровнем моря. Его хижина служила бесплатным ночлегом для туристов, можно было сварганить себе еду в котле на очажной цепи, свисавшей в центре основной комнаты, отдохнуть, сыграть с хозяином в нарды, поиграть с его поросятами, которых он звал «Мачками», и походить на смастеренных им ходулях. Самым гениальным в его хозяйстве был туалет – две ветхих стенки среди гигантских лопухов и некое подобие дверцы, позволявшей без стеснения справить нужду над чистой струей, отведенной от ручья. Минимум хлопот, и всегда свежий воздух.

От хижины до вершины Чумкузбы было добрых четыре часа ходу по холмистой цепи. В хорошую погоду с самой вершины видно море от Очамчиры до Пицунды – завораживающая перспектива поверх трех идущих параллельно морю холмистых цепей. Справа висит в воздухе Турецкая шапка – эта глыбища в виде диковинного головного убора всегда поражает новичков своей массивностью и легкостью парения над окружающими вершинами.

Если выйти от Тиграна в час ночи, можно увидеть с Чумкузбы восход солнца над Кавказским хребтом – ради этого утонченного зрелища некоторые любители-полуночники бежали по тропе с фонарями в руках, рискуя оступиться, зато утренний свет над вершинами вознаграждал их и щекотал ощущением крыльев за спиной.

Как-то, проснувшись в хижине Тиграна после горной пробежки, я, не открывая глаз, наслаждалась ощущением отдыха во всем теле – мускулы блаженствовали, полные кислорода и энергии; мозги были свободны от суеты и открыты любому опыту; стирая деревянный потолок хижины, небо властвовало над моей жизнью и манило беспредельностью пространства.

Вдруг невидимая линия протянулась от моих закрытых глаз к далекой «Амре», выветившейся на фоне моря – это был дружеский привет с побережья, не отпускавшего даже в горах.

В нашей жизни было много зелени и воды, в начале 80-х мы открыли для себя виндсерфинг – сухумский залив создан для этого вида спорта, здесь редко волнение, и начинающим удобно падать с парусом в спокойную гладь, не так страшно, как под волну. Сотрудники физтеха основали первую секцию, и доски с парусом начали бороздить бухту наравне с яхтами – выходишь утром на простор моря, стоишь босыми ногами на шершавой поверхности, омываемой водой, работаешь парусом, и тело наполняется ветром, несущим привкус далеких стран.

С синопского берега, где располагались парусная и подводная секции спортивно-технического клуба «Юг», «Амра» казалась маленьким парусом, который терялся среди белоснежных лайнеров, совершавших черноморские круизы. Отсюда к «Амре» регулярно снаряжались экспедиции, подводники кидали в моторную лодку акваланги и ехали добывать со дна морского посуду – на первом этаже «Амры» был ресторан, из распахнутых окон которого сухумские кутилы в разгар неумного кавказского застолья бросали бокалы и даже тарелки.

Возглавлял эти экспедиции Владимир Орелкин, четырехкратный чемпион СССР и восьмикратный чемпион Грузии по подводной стрельбе. Учившийся во ВГИКе у Юсова, но так и не ставший кинооператором.

Володя продолжал увлекаться кино- и фотосъемками и получил серебряную медаль ВДНХ за фотографию «Русалка», на которой Ната Зухба в гидрокостюме держала в руке здоровенную рыбину. Поднятую со дна посуду отмывали дочиста – Орелкин лично следил за блеском и прозрачностью стекла, и спортсмены пили за здоровье кутил и полную приключений жизнь морских бродяг. Те, кто присутствовал на этих пиршествах, помнят знаменитые тосты, которые произносил Володя, – о Фрези Грант, бредущей по волнам, о росинке, трепещущей на траве в час зари, о прекрасных незнакомках, улавливающих мужскую душу, чтобы превратить ее в вечно блуждающий по океанам «Летучий голландец».

Беглые пиршества тех лет, вспыхивающие, как дневные светлячки, везде, где встречались несколько родственных душ, были скромными и шутливо-прозрачными – тесно не было никому, ибо пространство дружбы и молодости было бесконечным и вмещало все – от нонконформизма до взаимных розыгрышей.

Негромко пела под гитару стихи Бродского филолог Леша Кобахия, художники Сергей Сангалов и Георгий Баронин вносили в кофейную кутерьму богемно-байроническую нотку, физик-прозаик Даур Начкебия неторопливо шествовал за своей музой, задумчиво впуская в пространство взгляда следы прошлого, резала правду-матку Наташа Шульгина, оттеняя ее свежей кожей и тугим узлом на затылке, биолог Роман Дбар сыпал цитатами на латыни и отгораживался бездонным спокойствием флегматика, две Гунды-поэтессы, еще совсем молоденькие, ходили под ручку со своими стихами и обольщали ими побережье. Забегал историк-археолог Сергей Шамба и подмигивал на ходу, незаметно подправляя иронию, как белоснежный носовой платок в нагрудном кармане; читал книгу за отдельным столиком хирург Ростислав Тоценко, соперничавший накачанными бицепсами и правильными чертами лица с Сильвестром Сталлоне; только что защитившая кандидатскую Аида Ладария еще держала в узде свои лидерские качества, намекая на них смугло-властным профилем; юрист Кероп Магакян с застенчивой метафорой на плече смотрел одновременно на залив и на собеседника; молча смаковал шоколад историк Анзор Агумаа, собирающий старинные фотографии и открытки и знающий, кто проживал в сухумских особняках до революции; художник Валерий Аркания бродил по кофейне, как по лесу, изредка выныривая на полянку, где можно было погреться на солнце.

Журналисты Николай Джонуа и Виталий Шария выныривали из редакции газеты «Советская Абхазия», шалели от свежего воздуха и

галопом мчались на свои насиженные кофейные места – Коля хохотал свежо и заливчато, успевая оценивать окружающих дам, а Виталий подгребал подробности происходящего, роняя лишние из рукавов. «Амра» демонстрировала многообразие типов и подчеркивала каждый из них с великодушием истинной хозяйки.

Например, в нашей компании было три признанных во всей Абхазии красавца – физик Адгур Инал-Ипа, филолог Рауф Чепия и художник Адгур Дзидзария. Из них троих бабником был только Рауф, а оба Адгура, равнодушные к своей мужской красоте, скользили в волнах женского восхищения без особых потерь и приобретений. Зато Рауф отрывался за всех – особенно возросла его популярность, когда он стал первым диктором только что созданного абхазского телевидения, и его бархатный баритон ворвался в каждую квартиру.

В его мужском обаянии сквозили экзотические нотки – помимо духовных поисков, характерных для нашей поросли, он вегетарианствовал и интересовался йогой. Я прислала к нему одну свою приятельницу, недавно переехавшую сюда из России, чтобы он поделился с ней секретами вегетарианской кухни, и результат не замедлил себя ждать – она потеряла голову, быстро получила отставку и ушла в женский монастырь под Одессой.

Адгур Инал-Ипа был меланхолическим красавцем, и его ниша в нашей компании напоминала пещеру отшельника – он всегда был сам по себе, и его деликатность только подчеркивала это. Сдержанно-молчаливый, думающий о своем, Адгур присутствовал-отсутствовал, но его внутренняя чистота цементировала общение из глубины.

Однажды зимой, за полгода до кровавой вспышки 89-го, мы с подругой на набережной попали под грубый нажим разгульной мужской компании, я вспылила и уже готова была подраться, как появился Адгур и один бросился на семерых. Дело могло кончиться плохо, но тут подъехала целая компания наших, и ввиду равновесия сил ситуацию спустили на тормозах.

Его готовность тут же встать на защиту в явно неравных условиях осталась в моей памяти как болевая заноза, и когда началась грузино-абхазская война, я знала внутренним знанием (да простят мне его родные), что он не вернется – такие не возвращаются. Его долго берегли, поручая сложные технические задачи – перед концом войны он совершенствовал в Пицунде управляемую лодку-снаряд. Но в конце войны Адгур сумел ускользнуть от надзора и, выпросив у кого-то автомат, участвовал в последнем, победоносном, наступлении на Сухум. В юности он снялся в фильме «Повесть об абхазском парне», где играл

Героя Советского Союза Владимира Харазия, павшего в Великой Отечественной. В кино его убили автоматной очередью из танка, и жизнь с жестокой точностью процитировала фильм – бегущего в атаку Адгура срезала автоматная россыпь из люка.

Адгур Дзидзария напоминал жгучего итальянца, и его занятия карате-до, мелодичность движений и мягкое умение уходить от конфликтов создавали вокруг него защитную зону, в которой окружающие чувствовали себя комфортно.

Как-то приехали на несколько дней два испанца, его друзья, и Адгур с археологом Баталом Кобахия принялись развлекать их, показывая природные красоты и достопримечательности. Батал, унаследовавший от отца-актера театральные темперамент, был выбран не только по дружбе, но и за умение держать внимание окружающих в тонусе. В последний день гостей катали по заливу на яхте, которую сухумский яхт-клуб иногда выделял для дружеских прогулок. Потом снова пили кофе на «Амре», и Батал, слегка утомленный пылким гостеприимством, начал жаловаться на скромные зарплаты научных сотрудников, не позволяющие продемонстрировать настоящий кавказский размах. Испанцы недоуменно переглянулись, и один из них осторожно сказал, что у них в стране за такой образ жизни, который они наблюдают в эти дни, нужно платить очень большие деньги.

Помню еще один насыщенный день, когда наших в кофейне было особенно много – за каждым вторым столиком мелькали хорошо знакомые лица, каждый был не новичок в культуре общения с собой, и это создавало атмосферу насыщенного действия.

Появился художник и скульптор Гиви Смыр, и мы радостно встрепенулись, организуя для него свободное место за столиком – редкие приезды Гиви из Нового Афона были как глоток кислорода, настолько силен в нем природный дух. В 15 лет он открыл огромную пещеру, ставшую впоследствии знаменитым курортным аттракционом, окрестные горы он знал наизусть и пропадал там в одиночестве, используя его как объемный инструмент познания – в его одиночестве была мощная архаика, втягивающая землю и растения в единый оборот с человеком. Рассказы Гиви о магии абхазской луны завораживали даже случайных собеседников – ее льющее сверху сияние прорывалось сквозь его слова и смывало общение в стихийный водоворот.

На окраинах моего внимания существовали аутсайдеры «Амры» – странноватые люди, приходившие в основном днем, когда были свободные столики, и сидевшие часами одни, их молчание не обременяло «Амра» принимала всех, не пытаясь подогнать к единому знаменателю.

Было несколько явно сумасшедших, в том числе приезжих – казалось, здесь, на продуваемом пяточке над водой, им комфортнее, чем на земле, где нужны паспорта и прописка.

С одним из аутсайдеров меня связывали полуприятельские отношения, основанные на обоюдном пристрастии к луне – несколько раз мы сталкивались на синопском берегу в самый разгар полнолуния и постепенно нарабатывали общий, хотя и скудный язык. Зато этот молчаливый луноголик имел немало имен: Боря, Игорь, Тимур и Константин, остальные уже не помню, как правило, каждый раз он фигурировал под другим, ненавязчиво давая понять, с кем я имею дело при очередной встрече. Днем мы виделись очень редко, мельком, на «Амре» мы ограничивались легким кивком, не знаю, где он работал и кем, в общении он упорно отсекал эту часть своего существования – возможно, несмотря на мою встречную дистанцию, он боялся слишком явного прикосновения.

Жил он в родительском доме на вершине горы Чернявского, откуда просматривалась большая часть сухумского залива. В полнолуние он сидел в кресле на крыше и часами следил за ее торжественным шествием по небу. В отличие от Гиви Смыра он предпочитал городскую луну, отбрасывающую мелкие детализированные тени – от балконных решеток, резных карнизов, веерных пальм и поздних прохожих, поэтому, насытившись ее панорамным сиянием, спускался в город и искал все новые ракурсы. Черная тень кипарисов дрожала в тишине, углубляя ее до самоотречения, и однажды, после особенно яркого полнолуния, он сказал, что город спал так глубоко, что невозможно было проникнуть в его сны.

Для меня он был жителем ночи, сведущим в ее тайнах и обогащающим мое знание о побережье – каждый человек вносил свойственную только ему нотку в многоцветный поток жизни, и я жадно вбирала все подробности, от разнообразия которых холодело сердце.

Это была только моя компания, а таких, расходившихся дружескими кругами по городу, по стране, было множество – «Амра» и другие кофейни продуцировали особый стиль жизни. Между собой мы называли себя амритянами, и это кофейное братство было невидимым отличием нашего способа существования.

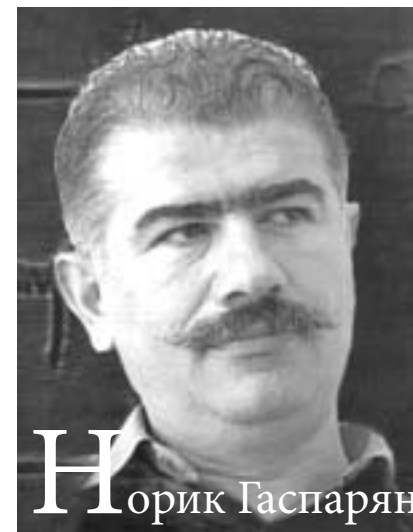
К концу 80-х подъем национально-освободительного движения, захлестнувшего Советский Союз и имевшего давние корни в Абхазии,

подверстнул и наше поколение, и на «Амру» уже часто забежали за политическими новостями – общественное напряжение в стране резко возросло, и волны его захлестывали кофейню, как зимний берег.

Китайское проклятье «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» скорее манило, чем пугало, ибо опыта перемен у нас как раз и не было – жизненный путь был размеренным, как шкала градусника – от детского сада до пенсии. Поэтому мы вибрировали в такт несущемуся вскачь времени с ощущением новизны в жилах.

Тогда мы еще не знали, что нам повезло! Что нас призвали всеблагие, как собеседников на пир – развал СССР, война, гибель друзей, блокада и жестокое искушение свободой уже вызревали в будущем, как «изабелла», которой мы любили лакомиться в конце сентября.

Май 2011



Родился в 1959 году. Автор десяти книг. Исполнительный директор Общественного телевидения. Живет в Степанакерте.

Никогда еще аэропорт не был таким многолюдным, неряшливым и противным. Царила невообразимая сутолока. Все – дети, женщины, мужчины, старики – спешили, боясь опоздать. Половину же огромного зала занимали чемоданы и уродливые сумки с различными этикетками. И Симон поместил свой тощий зад на одну из этих уродливых сумок, закурил, хотя курить здесь строго воспрещалось, и вывески справа и слева все время напоминали об этом. Но это, мягко говоря, не корбило Симона: это его страна, его аэропорт, и он может курить везде, где захочет. Запрещающий тоже свой, не чужой. А как же? Пусть кто-нибудь осмелится подойти!

– Гражданин, здесь запрещается курить... – пусть подойдет, посмотрит Симону в глаза и произнесет это. Симон только этого и ждал, именно для этого он находился здесь. Нет, он не собирался грубить. Симон просто очень хотел произнести пару слов именно сидя, сквозь дым, в качестве прощального слова, эпилога, что ли, оправдав таким образом свое состояние.

– Во-первых, гражданин, обращайтесь ко мне на «Вы», – сказал бы Симон. – Во-вторых, можете подсказать мне, что в этой стране не запрещено? Может, клеить девицу на улице, попрошайничать, гулять перед зданием правительства в залатанных штанах и разорванных туфлях, пожирать страну? В-третьих, – Симон выйдет из терпения, – Ты кто такой? Я, например, Симон, отца моего также звали Симоном, деда тоже, сына тоже. В нашем роду все Симоны. Ты – милиционер, полицейский, вроде бы блюститель порядка. Интересно, какой это ты порядок блюдешь, чей порядок? Тьфу! И Симон плюнет прямо рядом с государственными туфлями этого полицейского-милиционера-блюстителя порядка, и наверняка подумает, что половина страны ходит в государственных туфлях, в государственной одежде, находится на государственном довольствии.

Однако никто не подходил к Симону, и он, расположив свой зад на уродливой и жесткой сумке, безразлично курил. Другим нечем было заняться. Разве что можно было не курить. Однако он курил, изучая окружающих. Прежде всего, выяснил, что жена достаточно некрасива. И это не было результатом плохой жизни, страданий. Такой она родилась. Что же понравилось в ней Симону, заставив его поехать за ней в деревню и привезти в город под звуки зурны и барабана. А теперь она убегала из города в другую страну. Убегала, потому что не терпела этот город, потому что в этом городе все были красивыми. Симон пожалел себя, пожалел о том, что в продолжение 15 лет спал с ней в одной пос-

тели и клал голову на ту же подушку. В голове пронеслось также, что изменять ей, то есть иногда спать с другой женщиной, не грех, и Бог, недолго думая, может простить Симона.

Пожалел и жену. Что она будет делать там, как будет ходить на базар, входить в магазин и покупать одежду? Как будет объяснять, что ей нужно? Как называются по-английски помидор, огурец? Точно, растеряется, останется на улице, и домой ее приведут полицейские.

Затем он мысленно перенес жену туда и поставил рядом с тамошними женщинами – красивыми, с обнаженными длинными ногами, голым животом, открытой грудью и руками с золотыми волосиками.

Перенес, поставил рядом с ними... и отказался от собственной жены. Даже забыл о том, что в течение 15 лет вместе несли свой груз, вместе мучились и выстояли. И эта безобразная женщина подарила миру, а вернее, роду Симона, пятерых детей. Родились друг за другом. И сейчас потерянно стояли в этом громадном зале аэропорта.

Он стал изучать и детей. Старшей дочери едва четырнадцать. Ничего она не унаследовала от матери. Симон посмотрел на нее краешком глаза и пережил радостный миг. В глазах дочери уже были ростки зрелости. Отец увидел в них также и грусть, почувствовал, что девочка не может понять этих неведомо куда спешащих людей, эту неряшливую толпу. И от бессилия печаль становилась еще гуще.

Без особых усилий нашел Сону. Она грызла семечки, засоряя свою территорию в аэропорту. Соне было уже двенадцать, но она не понимала, что нельзя сорить, что кто-то, лет шестидесяти-семидесяти, будет трудиться, чтобы все это подмести, и непременно будет проклинать того, кто насорил.

Сона тоже ничего не унаследовала от матери... Наоборот, ее красота пугала Симона. Правда, Сона была смуглой, но она напоминала черный огонь. Она – ярко выраженная армянка. В ней была яркость от скал страны, камня, абрикоса, лани... Правда, у нее отсутствовала серьезность взрослой, но в проказливости Сони была тоска. И даже в лужгании семечек была тоска.

Вардану восемь лет. Симон считал его своей копией. Никаких различий. Симон немного сожалел, что именно ему не было дано его имя. Теперь этот Вардан-Симон нашел на своей территории в аэропорту подобного себе и играл в какую-то непонятную игру. Симон смотрел на сына, и ему казалось, что дед пришел и наблюдает за ним самим. Вообще-то, все утверждали, что дети пошли в отца, то есть все похожи на Симона. А это означает, что дети похожи также на отца Симона, родителя отца Симона. Симон знает, что его род – исключительный. Все

– и мужчины, и женщины – были похожи друг на друга и дарили миру похожих на себя детей.

Удивительным было то, что от женщин этого рода рождались дети, похожие на Симона.

– Симон, ты взял с собой паспорт?

Конечно, Симон все взял с собой. Положил в сумку даже игрушки своего детства, фотографии всех родственников, соседей, а также горсточку земли – в маленьком свертке, небольшой осколок камня от забора дома и побег ветки, царапающейся о стекло окна дома...

Однако Симон был занят изучением пятилетнего сына. Симон усмехнулся. Все утверждали, что этот пятилетний сорванец ничем не отличается от Вардана Мамиконяна. Они говорили это так, будто тысячу раз пировали с Варданом Мамиконяном и вместе участвовали в Аварайрском сражении. А если этот пятилетний сынишка Симона действительно похож на полководца, то это означает, что и Симон похож, и восьмилетний Вардан Симона, и девочки, и отец, что все они – один род...

И Симон пригляделся к пятилетнему сыну и стоящим рядом мальчикам. Пригляделся и сделал что-то вроде открытия: все мальчики были похожи на его пятилетнего сына. Были одинаковы цвет волос и глаз, рост, манера стоять и двигаться. Симон пошарил взглядом по аэропорту и нашел в самом дальнем углу нескольких мальчишек, играющих отрешенно от мира. Сравнил, и снова никаких различий. Все – Симоны. Си-мо-ны!

– Симон, паспорта...

Симон подумал, что паспорт ему вовсе и не нужен, что его паспортом являются эти Симоны. Посмотрят на них и скажут без колебаний:

– Симон Симонян, родился в 1955 году на территории планеты Земля, именуемой Арменией, в долине горы Арарат. Внук дедушки Симона, павшего в пятнадцатом на поле Мшо. Внук другого дедушки Симона, погибшего в советской тюрьме в тридцать седьмом... Сын Симона, который безмолвно мучился, мучился и однажды собрал весь свой род и заявил:

– Этот мир не для меня. Разберитесь с ним сами.

Сказал это и ушел, след простыл.

В паспорте столько вещей не отмечается. А если еще немного приглядятся к Симонам, то скажут:

– Симон Симонян, у тебя уникальный род. Ты – дерево, которое растет лишь перед взором горы Арарат. И когда происходил всемирный потоп, это дерево стояло, и голубь принес Нюю лист с его макушки... А

на чужом поле ты не выдержишь, Симон. Высохнут, искривятся твои ветви, плод твой не успеет вкусить нектара, поднимающегося от твоих корней, и треснет твоя кора...

– ... Пассажиры, отправляющиеся в Париж...

Жена подарила Симону пятого ребенка всего семь-восемь месяцев назад. И нарекли его без спора и шума Симоном. Это означало, что в семье у Симона больше не родится детей, и этот Симон – последний. Его называли Симоном, и имя Симона-старшего обрело еще большую важность. Родственники, соседи и знакомые не могли предположить, что в таком возрасте безобразная жена Симона решится пойти на подобный шаг, что в сорок пять лет Симон снова вскочит от радости, раскупорит шампанское перед родильным домом...

Симон вспомнил это и вновь грустно усмехнулся. Он признался себе, что с момента, как ступил на территорию этого проклятого аэропорта, его смех стал грустным. Смех был смехом тогда, когда раскупоривал бутылку перед родильным домом, собрав вокруг себя случайных прохожих. Можно было подумать, что это первенец Симона, что в свои 45 лет Симон еще не видел ребенка, не радовался как следует, что бесплодная, некрасивая жена Симона наконец родила...

Симон появился на свет таким же образом, вслед за четырьмя детьми, когда отцу Симона было ровно сорок пять. Разумеется, это было чистым совпадением. Однако Симон был уверен, что в этом деле не обошлось без вмешательства Бога, и именно Всевышний подарил очередного Симона. Иными словами, Симон – Божье создание. И именно потому Симон раскупоривал шампанское, и смех его был смехом.

– ... Отправляющиеся в Париж...

Маленький Симон двигался на четвереньках, отвоеывая себе территорию у задыхающегося аэропорта. Он расталкивал своими пыльными ручонками людей, и они невольно теснились, открывая дорогу ребенку. А малыш садился на минутку, удивленно смотрел снизу вверх на людей, затем снова продолжал свое наивное, захватническое продвижение. И это все больше и больше вдохновляло его, в действиях ребенка были бодрость и неосознанная мстительность.

Вначале Симон-отец принял это за наивную детскую игру и даже хотел одернуть его. Однако в один момент ребенок оказался вне поля его зрения, и лишь позже Симон-отец заметил, что сынишка почти освободил огромный зал, оттеснив людей к стене, словно преступников перед казнью, и, сидя в центре своей громадной территории, громко смеется.

– Этот мир не для меня, – Симон услышал голос отца. – Разберитесь с ним сами...

... Малыш хохотал...

... Париж...

– Симон, паспорта...

– Этот мир...

... Симон Симонян. Родившийся в долине горы Арарат, в Ноевом ковчеге, из абрикоса... корня дерева...

И никто не возмущался: чей это щенок? Появись недовольные, ответил бы:

– Сам ты щенок, собака, сукин сын!

Сказал бы:

– Сам ты щенок, потому что живешь бессмысленно, глупо и не знаешь, куда идешь. Сам ты щенок, потому что не смог защитить свою страну, потому что не вцепился в ногу врывающегося в твой дом, потому что вечно скулишь...

Симон – мой сын, а я – сын своего, не принявшего этот мир отца Симона, сына моего деда Симона, павшего на поле Мшо. Он – правнук Вардана Мамиконяна...

И колыбелью Вардана Мамиконяна был Ноев Ковчег...

– ...Мать того, кто выдумал аэропорт! – замычал Симон.

А маленький Симон продолжал держать людей припертыми к стене. Они, казалось, боялись двигаться. Ничто не ускользало от взора малыша. Незначительное движение, и малыш визжал, приходил в ярость. Никто, даже некрасивая жена Симона, не мог подойти к нему.

Печаль в глазах старших дочерей стала более явной.

Расправившись с семечками, Сона стала скучать.

Вардан, завершив игру, наблюдал за маленьким Симоном и смеялся.

Пятилетний сынишка заснул, положив голову на колени матери.

– ... Пассажиров просим...

– ... Свежие пирожки, свежие...

Старушка с тележкой попробовала войти на территорию маленького Симона, однако, услышав визг ребенка, застыла на месте.

– ... Совершил посадку...

Симон исподтишка поглядел на жену. Пожалел. И себя, и жену. Себя – больше. Пожалел и старших дочерей, шаловливую Соню, Вардана, пятилетнего сына, старушку, торгующую пирожками, приговоренных пассажиров, стоящих под стеной зала ожидания, а также того, кто объявлял:

– ... Париж...

Это было двадцать пять лет назад. Вместе с отцом пришел в аэропорт. Впервые в жизни Симон-отец должен был сесть в самолет и посмотреть сверху на неприятный ему мир. И для этого случая он надел

парадную одежду, нацепил на грудь ордена и медали, полученные на войне. Обувь же была привезена из России – натуральная кожа, блеск. И галстук завязал. Впервые в жизни. Накануне же супруга посадила Симона в огромную лохань и помыла.

Вообще, отец был красивым мужчиной. И наряд еще больше подчеркивал его красоту. Ради таких мужчин женщины готовы совершать глупые поступки, забыв о женской гордости и чести.

В советскую школу Симон-отец не ходил, однако рассуждал о Сен-Симоне и декламировал наизусть сонеты Шекспира, когда бывал немного в настроении.

Он и не жалел о том, что не посещал советскую школу. А если бы посетил, то непременно проклинал бы ее создателя.

Симон-отец имел собственную школу, в которой учился лишь он один. Одновременно он был и учителем, и учеником. А продолжительность обучения не ограничивалась десятью годами. Войдя в школу Симона-отца, уже невозможно было выйти оттуда. И директор этой школы, облаченный в парадную одежду, решил вместе с сыном посмотреть на невзлюбившийся ему мир сверху. А Симон-сын рассказывал дивные и разноцветные вещи об увиденных сверху горах, ущельях, реках и полях. Рассказывал с искренним восторгом, как ребенок, подробнейшим образом. И по мере развития рассказа сына отец хмурился, бледнел, грустнел. Симон-сын, конечно, не замечал густые облака тумана, появившиеся в складках лица отца. Ему казалось, что после того как отец посмотрит на мир сверху, непременно изменит свое мнение о нем.

– А построенный Ноем ковчег виден сверху? – спросил Симон-отец.

И, не дожидаясь ответа, медленно, немного косолапая, покинул аэропорт. И сын в течение уже 25 лет думает и никак не может понять отца и мотивы его поведения...

– Этот мир не для меня, – Симон слышал голос отца. – Разберитесь с ним сами...

– ... Отправляющихся пассажиров просим...

Симон почувствовал, что не жалеет малыша, стоящего на четвереньках, что маленький Симон – король и самая большая территория в аэропорту принадлежит ему. С ним пытались вступить в переговоры.

...Отец удалялся неровной походкой...

– А сооруженный Ноем ковчег виден с твоей высоты, Симон?

– ... Отправляющихся в Лос-Анджелес просим...

Лицо некрасивой жены Симона просветлело, глаза стали петь.

Пять лет ждали этого момента. Ждали, мучаясь, презирая, разочаровываясь. Наконец, освободятся от этой проклятой страны, этой

серости, этой...

И в косящемся на жену взгляде Симона появились отвращение, презрение к ее большому семейству, стару и младу, соседям и знакомым. Будь жена немного внимательнее, почувствовала бы, заметила бы это. Заметила бы и капельку слезы, появившуюся в глазу Симона...

– А сооруженный Ноем ковчег...

А маленький Симон был королем...

Симон медленно выпрямился. Зажег новую сигарету. Поискал взглядом и нашел следы отца, оставленные 25 лет назад, и пошел по этим следам. К выходу. И шаги Симона были такими же неровными, как шаги отца.

– Симон, паспорт...

Кашель

После смерти мужа Ерикназ, или Ерик, терпела всего год, два месяца и пять дней. Ранним морозным утром она почувствовала, что больше не в силах выдержать. Ночью же приснилось черт знает что! А ведь за всю свою жизнь она всего пару раз видела что-либо во сне. Но причина тут, наверное, была не в морозном утре, разноцветных снах и усталости. Это тело спозаранку высказало что-то вроде жалобы. Кажется, даже обвинило хозяйку. Произвело недовольные движения под одеялом. Стало искать что-то. Заскрипело подобно старой двери. Всклипнуло. Существо же между ног, замолкнувшее на год, два месяца и пять дней, заныло, стало скорбеть. Такое Ерикназ-Ерик не помнила с девичьих лет. Тело ее всегда удовлетворялось малым, было уравновешенным, умным, не предъявляло лишних требований. Ерикназ даже могла не выходить замуж и жить спокойно. Но привычки, тоска по ребенку, боязнь стать притчей во языцех были сильнее. Особенно невыносимой была старушка, проживающая в соседнем разваливающемся домике на краю двора. Собрала бы она весь двор и:

– Ахчи, видать, какой-то порок у нее, что кукует в одиночестве, – скажет и осыпет проклятиями.

А двор не станет возражать ей. И вопрос Ерикназ-Ерик таким образом решится: она получит статус «засидевшейся в девках», затем выяснится, что эта тихоня Ерик давно уже не такая, какой мать произвела на свет, что, короче говоря, тихоня Ерикназ не девушка...

И первому же постучавшемуся в дверь Ерикназ сказала «да». Сказала и пошла со двора под звуки зурны и барабана. Вернее, убежала. Хотя в день свадьбы та же самая старушка собрала весь двор и заявила:

– Интересно, сколько часов потерпят ее?..

Почему Ерик рано утром вспомнила все это? Особенно старушку, которую вообще старалась не вспоминать и, кажется, давно забыла. Вернее, вспоминала от случая к случаю, когда говорили о родном дворе и соседях.

Вспоминала и, удивительное дело, почти не обвиняла ее. Просто думала: интересно, скольких выдала замуж и скольких ждала обратно.

А в целом, Ерикназ не так уж была недовольна старушкой. Первый, кто постучался в дверь Ерикназ, был порядочным человеком, казался даже не от мира сего, хотя только пятнадцать лет учился в школе и университете, прочел тысячу книг. И это в свои тридцать лет. Правда, Ерикназ до сих пор не может ответить на один очень важный и модный вопрос, однако при этом она ни о чем не жалеет. Ерикназ просто не понимала, любила ли мужа или же в течение времени привыкла к

его запаху, теплу, голосу, отношению и стала чем-то вроде преданной собачки? Если бы это было не так, не жила бы с почтенным животом, лишив себя земных удовольствий. Супруг, конечно же, понимал и ценил это, и Ерикназ жила в доме почти в статусе богини.

Ерик-Ерикназ съежилась под одеялом, свернувшись в комочек, стала какой-то жалкой, прослезилась. Конечно, не все было безупречно, но и плохо не было. Слава Богу, дети росли сытыми и здоровыми. А раз в год каждому из детей прилично справляли день рождения вместе с соседями-родственниками.

Правда, в постели муж требовал большего, но никогда вслух не упрекал Ерикназ в холодности. Наверное, страдал молча, но не обвинял. Причислил Ерикназ к типу «холодной» женщины и решил довольствоваться тем, что она содержит дом в чистоте, готова пожертвовать жизнью из-за детей и растаять перед гостем. Пусть лишь раз в месяц выполнял свои мужские обязанности, целовал грудь и губы жены. Однако со стороны никто бы не подумал, что отношения между Ерикназ и мужем в постели так холодны и лишены настроения.

По правде говоря, Ерикназ сама не понимала причины собственной холодности. Сказать, что ласки мужа не были приятными, было бы неправдой. Нравилась и горячее, необузданное дыхание, несколько слов, непрерывно повторяющихся в темноте, почти все. Однако Ерикназ, кажется, всегда стеснялась ответить лаской на ласку, поцелуем на поцелуй, движением на движение, словом на слово. Стеснялась, и каждое действие супруга оставалось без ответа, казалось отверженным и оскорбительным. Однако муж был настолько культурен и умен, что никогда не требовал большего. Смирился со своим положением и производил впечатление счастливого отца и супруга. Многие завидовали ему, что имеет такую жену, как Ерикназ – просто небесный дар.

... Ну а теперь тело ее скрипело...

А тело Ерикназ было еще достаточно свежим. Никто не сказал бы, что она уже родила трех детей, а старшему – двенадцать. Ерик принадлежала к типу женщин, которых в пятьдесят лет можно перепутать с двадцати пяти-тридцатилетней. Такие и в пятьдесят имеют крепкие, тугие и сочные груди, подтянутый живот и упругие бедра. А Ерикназ на тот момент было всего тридцать. То есть еще лет двадцать-двадцать пять она будет иметь упругие грудь и живот. И будет обольщать мужчин. А мужчины будут оглядываться вслед этой невянущей женщине и стонать. Будут смотреть и сожалеть, , смотреть и петь ... и мысленно, средь бела дня, прямо на улице, будут владеть ею тысячу раз, кусать с ног до головы...

По правде говоря, Ерик не обращала внимания на такие вещи. Не понимала, почему мужчины, опешив, останавливались и смотрели вслед женщинам, и на что смотрели? Муж, к примеру, никогда не оборачивался вслед женщине, не стонал. Если бы он оглядывался на женщин, Ерикназ заметила бы и, может, поняла бы что-то.

... Тело всхлипывало...

Ерикназ нехотя оторвала руку от тепла одеяла и потянула за край занавески. Виднелись лишь холодные и голые макушки деревьев. С неба опустился светлый комочек, незрелый луч света, и спокойно сел на край подоконника. Ерикназ не любила зиму. Не то что не любила, а питала отвращение к холоду, серости, абсолютной власти черного и белого. И это вовсе не было новым чувством, оно шло еще с девичьей поры. Снова вспомнила старушку. Для этой ведьмы не существовали ни лето, ни зима. В самый морозный день она сидела, укутавшись в тысячу одежд, собрав вокруг себя весь двор. Создавалось впечатление, что она ожидала исторического события. Ничто не могло произойти без ведома этой старушки. Двор был уверен, что без нее даже в Соединенных Штатах Америки трудящиеся не объявят забастовки.

Старушка топила в своем ветхом домике печку. Зимой и летом дым густо нависал над двором, садился на развешенное во дворе белье, занавески, людей. Подобно старушке, дым был вездесущ, появлялся без приглашения.

Пальцы Ерикназ на краю одеяла стали мерзнуть.

У мужа было горячее тело, подобное печи. Зимой Ерикназ прислонялась к этой печи, притихала и засыпала. Она чувствовала, что мужу это приятно, что если муж и любил зиму, то именно за эти минуты. С потеплением Ерикназ медленно отползала, удалялась от этой печки. Выходило, что Ерикназ нетерпеливо, почти неистово ждала, когда дни станут теплее, а муж – холоднее. Оба чувствовали это, однако...

Ерикназ стало как-то жалко мужа, она раскаялась, обвинила, осудила себя:

– Я – развратница... – зарыдала Ерикназ, и примостившийся на краю подоконника лучик света задрожал...

...Мужа в армию не призывали, не приглашали. Он сам пошел. Добровольно. Можно подумать, если бы не пошел, некому было бы защищать страну, и враг дошел бы до столицы. Видите ли, именно поэтому он пошел и притихнул врага, разгромил его армию. А не пошел бы, еще не известно, возлежала бы сейчас Ерикназ вот так, подобно королеве.

... Между ног происходил настоящий переполох...

Муж не принадлежал к типу людей, которым суждено стать героями

Такие, как он, тихо и безмолвно несут свой крест, не мешая, не вредя миру. Таких людей никогда не подвергают гонениям, их почти не замечают. Не чувствуют ни их приход в мир, ни уход из мира. Муж, наверное, принадлежал к категории солдат, которые никогда не мечтают о погонах генерала, не думают о славе. По мере возможности он выполнял свой долг перед Родиной. Когда враг наступал – стрелял. Во время перемирия переводил дыхание, не отрывая взгляда от вражеского стана. Шел, когда посылали в разведку. Когда иногда предлагали поехать повидать жену, детей, умыться, отоспаться как следует, ехал. Все он делал, только вот толком выспаться не удавалось. Не получалось. Беспокоился. Тревожился. Даже не хотел снимать военной формы. Те два-три дня, когда оставался, был в военной форме. Почти не говорил, в глазах же мелькал едва уловимый блеск. Нетрудно было заметить, что он возвысился в собственных же глазах, заужав себя и не жаловался на свою судьбу. Ерикназ-Ерик заметила это в первый же день и никогда не упрекала мужа. Не произносила бессмысленных слов, не ворчала: на кого он оставляет детей, дом? Могла бы сказать: «Кто будет содержать твою жену?» Но не сказала, и правильно поступила. Иначе оплошала бы, потеряла бы свой статус богини, стала бы самой обычной женщиной.

... Никогда раньше тело так не скулило...

Однажды друзья мужа сказали Ерикназ, что супруг ее – не герой и героиней одновременно, то есть никогда не войдет во вражеский блиндаж и не сожжет целое село, не возьмет в плен с десятков аскеров, однако один пойдет против ста, не отступит ни на шаг, день и ночь не моргнув глазом отстоит в окопе, вытащит под градом пуль с поля боя раненого. Говорят, однажды даже воскликнул:

– «Эта война для нас – дар свыше...»

Бедного даже и медалью не наградили. Даже в газете не написали про него пару строк, как-то непонятно ушел. Хорошо, что еще труп благополучно привезли. А то бедняга даже могилы бы не имел на этой земле, и никто не знал бы, что на свете жил человек по имени Погос Погосян. Всего несколько человек безмолвно, без плача и стенаний отнесли его на кладбище, похоронили и вернулись. Казалось, совершали самую обычную церемонию, спокойно и безразлично. Лишь на поминках вокруг небольшого стола невзрачный военный, без погон, без нормальных усов и бороды, произнес пару слов:

– Погос был достоин большего внимания... – дал он свою оценку и проглотил рюмку водки до последней капли.

... Теперь же, ранним утром, когда еще невозможно было разглядеть

стрелки часов, Ерикназ прониклась жалостью к мужу, обвинила его, зарыдала и поняла, что никогда так не любила, не жалела ни одного мужчину...

Но что Погосу? Оставшимся тяжелее: опять же Ерикназ будет вот так скулить в одиночестве, выть ни свет ни заря. Если вдуматься, то умереть легче, чем жить: закрыл глаза, и все. И никаких мучений, плача, презрения... Ты – уходящий. И какая разница, как будешь уходить – героически или просто так? Все одно и то же. Ну и что с того, что вслед героически уходящему на пару слов больше скажут, дадут медаль? Что изменится от этого, разве жена не будет скулить подобно Ерикназ?

Хорошо еще, Ерик – женщина сильная, не зарится на мужчин. Мужчины для нее практически не существуют.

... Под окном кто-то неуверенно, вернее искусственно, кашлянул. И это было не впервые. Кашель уже несколько раз доносился до Ерикназ в этот час дня. Вернее, бился о стекло и грохался под окно.

Ерик-Ерикназ не принадлежала к типу женщин, которые после потери мужа считают жизнь завершенной и причисляют себя к самым несчастным существам в мире. Она не клялась быть верной душой и телом суженому до последних мгновений жизни – не смотреть в лицо другому мужчине, не улыбаться, идти на самопожертвование. О таких вещах она даже не задумывалась. Ни на кладбище, ни в те минуты, когда одна ложилась в холодную постель и не могла сомкнуть глаз. Однако порой, стоя перед зеркалом, внимательно изучала свое еще свежее тело, вела руками по плечам, груди, животу, таинственному треугольнику и убеждалась, что похожа на восемнадцатилетнюю, что невозможно заковать, скрыть это великолепие, слабость, жеманство.

Теперь, когда после гибели мужа прошли год, два месяца, пять дней, Ерикназ не могла совладать со своим телом, грудями, плечами, этим треугольником... Ерикназ словно посадили на скамью осужденного, читали обвинительную речь, терзали. Того и гляди, выбросят на улицу такой голой, побьют камнями, бросят собакам на растерзание.

...Снова тот же кашель под окном, неуверенный, искусственный. Ерик-Ерикназ покопалась в памяти, но не нашла того, кого можно было бы представить рядом с собой в постели. Вспомнила одноклассников, всех соседей и просто зевак на улице, жителей здания напротив. Даже в темноте можно было заметить ее искаженное, капризное, недовольное лицо. Муж был первым и последним, кого она повстречала, полюбила – не полюбила. На первый взгляд, похожий на всех, без малейших различий...

Первый и последний. Первый и последний. Первый... Что Погосу? Если

бы подумал немного, представил, что жена Ерикназ будет скорбеть и скулить в одиночестве в постели, в холодной комнате, вяжущей темноте, точно не пошел бы никуда... не пошел бы, не...

Первый и последний. Последний... первый...

Кашель не прекращался...

Ерикназ была убеждена, что никто не обвинит ее, если однажды...

Конечно, найдутся и осуждающие. Например, почти все замужние женщины. И не ограничатся лишь упреками, еще и приклеют тысячу и один ярлык... Если послушать этих замужних женщин, Ерик должна вести убогий образ жизни, не поднимать глаз, вот так скулить, стенать от боли, одиночества, тоски, мужского запаха – каждое утро, каждую ночь. Наконец, должна понять и смириться с тем, что ее долей был лишь Погос... Ушел он... И она, Ерикназ, больше не имеет доли от мира сего. Не имеет права притрагиваться и даже думать о другой доле. В противном случае ее будут принимать за развратницу, грешную женщину, достойную проклятий и гонений.

... Кто это там кашляет?...

Если бы не стыд, потихоньку потянула бы штору и взглянула бы. Ну и что, если это кашляющий заметит Ерикназ, тайно глядящую в окно? Уж точно, мир не перевернется.

... Тело не хотело молчать, успокаиваться, приспособиться...

Нет, она, Ерикназ, не способна лечь просто так рядом с чужим, не сможет, не сможет! Ее отвратят сигаретный дым, запах пота, голос, взгляд...

Не сможет...

Погос...

Погос был другой...

Перв...

Последний...

Кашель вошел в спальню во всем своем искусственном великолепии и почти свернулся под одеялом...

Ерикназ почувствовала, что она вот-вот отдернет занавеску, встанет в ночной рубашке перед окном и не только посмотрит, но и бросит ему:

– Ты что, не нашел другого места кашлять?

Это произошло на рассвете. Женщины, подметавшие улицу, не успели еще пройти по всей ее длине. Во дворах еще не прозвучало: «Доброе утро!» Ключ еще не щелкнул в темной щели толстого замка магазина. Лишь несколько капель света покатились вниз по стеклам окон. В эту пору, как правило, не совершают самоубийств. Это как-то противоречит действующим в городе законам. И город не помнил ничего подобного – это было невиданной смелостью, презрением.

Выстрела не было. Значит, о крови не могло быть и речи. Когда петух в первый раз прокричал во дворе, он взял специально заготовленную толстую веревку, долго не раздумывая, открыл дверь, подошел к беспрепятственно выросшему в центре двора дереву и...

Веревка выдержала.

Ветка же вначале противно закричала. Но чуть позже освоилась с тяжестью, доставшейся ей, и замолкла. И когда петух прокричал во второй раз, он уже успел свести свои счета с миром. Картина была непривычной для двора, неприятной, неподобающей. Настоящий мужчина не повесится, тем более в такой час дня, к тому же на глазах у женщин. Тьфу!

Как назло, он был красивым, имел походку, свойственную мудрецу. Его квартиру часто посещали женщины... Да, приходили. И оставались на несколько часов, на день, два... Однако никто не видел, чем они занимались там, за занавеской. Всего лишь предполагали. Мужчина, безусловно, знал обо всем этом и не винил людей. Наоборот, его приветствие звучало более тепло, более задушевно. Хотя колющие и исковерканные слова, подобно обнаглевшим летом мухам, наступали с четырех сторон, садились на лицо, на неприкрытые части тела, кусали, залезали в нос и уши. И когда он порой поднимал руку и приближал к лицу, казалось, что хочет отогнать их от себя. Но мухи кусали даже сквозь одежду. Может, именно поэтому одежда не выдерживала, покрывалась многочисленными дырами и, естественно, вынималась из шкафов. При этом она уносила с собой мучения и запах пота хозяина, черту его характера, ворох памяти ушедших дней. А еще – теплоту и следы пальцев многочисленных женщин.

Конечно, наука по сей день не смогла доказать возможность подобного явления. Мужчина тоже не знал, и лишь когда ложился спать, замечал оказавшиеся на одежде дыры и упрекал себя в небрежности. Только и всего.

Теперь с первым криком петуха...

Прямо в центре улицы.

Человек, по меньшей мере, должен быть безумным, чтобы в эту пору дня позволить себе подобную безнравственность. Петух успел прокукарекать всего лишь два раза. Улица не успела поспать на другом боку. Мужчины же еще имели достаточно времени сходить с ума от утреннего аромата женщин. После этого они непременно опаздывали на работу, женщины тоже. Вообще, это время дня не отмечается ничем, если, конечно, не считать густой и громкий храп нескольких потерявших свои способности и силу мужчин, который подобно низким тучам наполнял улицы, дворы, садился на подоконники, перед дверьми, на крыши.

А он с веревкой в руке...

С ума можно сойти.

В центре улицы...

В этот час дня...

ТЬФУ!

Убили!

Таково было первое мнение, нависшее над улицей в это утро и прозвучавшее из уст пенсионера Цатура.

Это было произнесено тяжело, тоном, не допускающим возражений, как истина в последней инстанции. Значит, другого мнения быть не могло.

– Убили, потом – повесили. Вот и вся загадка.

Пенсионер Цатур просыпался раньше всех на улице. Когда петух кукарекает, Цатур откликается:

– Поняли, не дураки...

Конечно, петух не слышал этого, но Цатур говорил. На что это было бы похоже, если бы не говорил? Может, и второго кукареканья не было бы. Петух забыл бы о своих обязанностях, в городе перемешалось бы время. Пожалуй, и рассвет не наступил бы. Так что, хотите того или нет, это «поняли» должно было сначала порядком пощупать язык Цатура, затем продемонстрировать всю свою мощь. Об этом знали и в соседних дворах, и в соседних школах, и даже в городах. Теперь же, утверждая, что убили, этот Цатур наверняка что-то знает, кого-то подозревает. Но странным было то, что он произносил это на пустой улице, то есть его никто не слышал, даже петух не услышал, вернее, не понял. И, наверное, потому рядом с самоуверенным мнением пенсионера Цатура с неменьшей уверенностью появилось второе мнение-версия:

– Не убили...

Это был полоумный Вазген. Вернее, он был и полоумным, и не полоумным. То есть безумным, но не настолько. К примеру, если бы не был

безумным, то не осмелился бы возразить посреди улицы мнению учителя Цатура. А если бы был совсем безумным, то, как и большинство сумасшедших в мире, посмотрел бы на мужчину, словно проверявшего прочность ветки, и захохотал:

– Нашел место качаться...

Можно было бы с удовольствием продолжить рассказ о полоумном Вазгене, если бы именно в этот миг в конце улицы не появился Арут с его сногсшибательным, но наивным для Цатура и Вазгена мнением:

– Господа, здесь какая-то тайна.

А этими «господами» были учитель, полоумный и несколько свисающих с балкона голов, хозяев которых не было видно со двора. Аруту было под 60. Он выражал мнение части улицы: Арут родился и вырос на этой улице. Его помнят и знают все – и стар, и млад. Самым убедительным свидетельством его рождения на этой улице было то, что все – и взрослые, и дети – звали его Арутом. Не дядя Арут, а Арут – и все. А вот по мнению другой части улицы, этот бандит обосновался здесь лишь в последнее время, всего лишь несколько лет назад. Аргументом в пользу данной версии было то, что все называли его бандитом, не дядей Арутом, а бандитом...

Теперь этот бандит Арут торчал в конце улицы:

– Господа!

По правде говоря, в этот момент его авторитет был больше, а слово убедительнее. Учитель сказал, что убили, но никто кроме него не услышал этого. Полоумный сказал, что не убили, услышал только учитель. А вот бандита Арута услышали и учитель, и полоумный, и уже появившиеся к тому времени на улице полуголый внук учителя, кошка и собака.

Мнение Арута казалось полным смысла, эфирным, чего, безусловно, были лишены высказывания Цатура и Вазгена. И, несомненно, преимущество в этот момент было на стороне Арута. И этот Арут мог бы стать центральной фигурой дня и околотка, если бы...

– Трудно вынести решение, – это был уже Желудок из окна, которое находилось на одном уровне с висельником. И если бы твоя голова невольно не поднялась и повернулась в сторону голоса, то показалось бы, что говорит сам висельник. Правда, это было невозможно, но в то же время – теоретически возможно. Подобное, говорят, случалось годы назад в другой стране.

–... выносить решение...

Это уже было серьезным шагом в деле выявления преступника.

Цатур окаменел.

Вазген в один миг потерял дар речи.

– ...решение...

Арут опешил.

Это действительно было неожиданностью, что можно было квалифицировать также как удар со спины. В особенности не ожидал Арут, тем более от Желудка, который возглавлял ту часть улицы, по мнению которой, Арут родился и вырос здесь. Теперь, пожалуйста, своими несколькими словами Желудок сдал Арута другой, вражеской части улицы, сделал ему мат.

Потом Желудок долго убеждал, что он не видел Арута, не слышал его голоса, но никто не поверил ему. А Арут, ничтоже сумняшеся, навеки перечеркнул свои связи с ним, плюнув на те тысячи тонн хлеба и мяса, которые они кушали с Желудком вместе...

– Плевать, плевать, плевать!

Вот последние три слова Арута, прозвучавшие в этот день.

Однако, если честно, этот Желудок совершенно не был виноват. Во-первых, он не мог видеть Арута со своей высоты – висельник мешал. Во-вторых, все было неожиданно. В третьих, каждое существо имеет право на слово, право совести. В конце концов, это было личным мнением Желудка:

– Трудно выносить решение.

Чем не мнение? Чем оно хуже других мнений? Самобытное, своеобразное, не похожее на другие, ошеломляющее, справедливое, одергивающее. Но в целом этот Желудок был самым худым мужчиной околота. И самый обычный ветер мог пошатнуть его. Может, это было причиной того, что, едва почуяв признаки ветра, он заходил домой, крепко запирали двери и окна. Если его нет во дворе, то, точно, откуда-то появится его заклятый враг – ветер.

Но почему Желудок? Это по сей день остается для окружающих неразгаданной, глубокой тайной. Неизвестно, откуда он принес с собой это имя, кто его придумал. Очевидным было лишь то, что, услышав свое прозвище, он затихал, терялся, глаза наполнялись мягкой грустью, поэтической думой...

– Самоубийство.

Это еще кто?

Бедняжка, кажется, впервые издавал голос, говорил.

Однако мнение было хорошее. В его слове были логика, философия, интеллект, особенно если взять и поставить рядом с другими мнениями. Вспомним первое и другие, выстроим их наподобие стихотворных строк:

Цатур – убили.

Вазген – не убили.

Арут – господа, здесь какая-то тайна.

Желудок – трудно выносить решение.

Последнее мнение – самоубийство.

Последнее мнение было интересным ввиду его самобытности и глубокомысленности, а также смелости. Значит, человек может совершить и самоубийство, ему может все опротиветь, и он может пойти на самоубийство, плюнув на весь двор.

Никто в эту пору дня не мог подумать о подобных вещах, даже учитель Цатур, даже Желудок...

Но улица не успела еще насладиться всей красотой этого мудрого шага по раскрытию преступления, когда неожиданно для всех Желудок изменил свое мнение, которое прозвучало в знойный полдень достаточно уверенно и бойко, с того же места, с высоты на уровне висельника:

– Вряд ли совершил самоубийство.

В ту же секунду решил сказать несколько слов Арут, съевший с Желудком тысячу тонн хлеба и мяса:

– Кто сейчас идет на самоубийство?

Не выдержал и учитель:

– Насколько известно, он не был сумасшедшим.

Остался полоумный с его уверенным мнением, его убеждением, его неодолимостью:

– Не убили. Все остальное – глупость.

Явление, называемое удивлением, с громким ржанием пронеслось с одного конца улицы на другой конец, поднялось подобно жеребцу на задние ноги и стало топтаться перед закрытыми воротами. Затем вернулось и встало посреди пятерых.

– Полоумный прав.

Это уже означало перейти меру, нарушить традиции, мягко говоря, попрасть права человека, наконец, развалить коммунизм. Улица еще не успела обернуться в сторону голоса, как он прозвучал более властно:

– Полоумный прав, я из команды полоумного...

Команда!

Это уже было новостью не только для двора. Даже учитель впервые слышал подобное выражение. Это было современным словом, суперсовременным.

Произнес его Влад, муж Амest. Казалось, двор впервые видит его, будто это не тот самый Влад, который каждый день пьяным пел песню «Несчастливые дни». Оказывается, этот дурак был достаточно умен, а двор не знал. Цатур превратился в ноль, Цатуру капут, то есть конец.

Всего одним коротким выражением Влад убил на глазах у двора Цатур, уничтожил, сказал: хватит жить, а для двора ты совершенно лишний, весь: с туфлями, петухами, с твоим «поняли»...

Хватит пудрить мозги людям своими глупыми идеями. Хотя бы отстоял свое мнение. Конечно же, это не было произнесено Владом вслух, но почти было сказано. Двор именно так понял и прокомментировал это. А полоумный потом признался, что хотя он столько прожил в этом дворе, но лишь в этот день стал понимать людей. Признался, что он был идиотом. Говорили, не верил. Кто бы мог подумать, представить, что этот самый Влад умнее учителя. Погляньте на его лексикон: я из команды полоумного... из команды... команды!

В этот миг человек должен был быть, по меньшей мере, безумцем, чтобы не понять своего преимущества перед всеми: и Цатуром, и Арутом, и Желудком, почему бы и не перед Владом... Он становится кем-то вроде руководителя, почти феноменом, явлением...

– Смирно!

Стало быть, двор должен встать по ранжиру, доложить о произошедшем. Это, конечно, после. А вначале, в самом начале, он выставит за двор этого интеллигента. За что? За нарушение общественного порядка. После этого люди будут спать спокойно. Потом решит вопросы Арута – засвидетельствует его регистрацию во дворе, а другую половину он сам убедит. Желудок – ничто. Желудок не представляет опасности для общества. Последний... И он оставит двор за сеяние раздоров, недовольство общественным строем, разрушение устоев государства. Его даже можно арестовать, бросить в тюрьму, воспитывать. Пусть идет отдохнуть немного. Этими же делами может заняться Влад из его команды.

В то время мир действительно изменится, станет красивым, люди же не окажутся на рассвете на ветвях деревьев.

Но вот как развивались события до наступления этих исторических времен.

Прежде всего Цатур, будучи не в курсе этих исторических явлений, воскликнул:

– Я остаюсь при своем мнении.

Арут повторил сказанное ранним утром:

– Господа, здесь какая-то тайна.

Желудок со своей высоты, равной высоте висельника:

– Трудно выносить решение.

Последний:

– Чую запах самоубийства.

А полоумный Вазген, которому уже казалось, что он хозяин двора, с почтением посмотрел на Влада. Тот сразу же понял смысл взгляда Вазгена. И тут же поднял голос:

– Молчать!

Собака заскулила.

Кошка вмиг оказалась на макушке дерева, царапнув лицо висельника.

Полуголый ребенок помочился в имеющуюся одежду.

Жара превратилась в шмеля.

– Мерзавцы!

Прямо в центре двора, перед висельником, который не знал, какие исторические события происходят в этот миг под деревом. Если бы знал, наверное, так не качался бы.

– ...чать!

Это уже дошло до самого крайнего дома двора. Стрелки настенных часов остановились, казалось, увековечив таким образом этот исторический период времени.

Потом обо всем этом расскажут так, приблизительно так:

– Итак, голос этого Влада ворвался без стука в дом. Если бы не уклонился, выбил бы мне глаз. Да, ударил бы и выбил. Вовремя наклонил голову. Попал в часы. С этого дня они не ходят. Часовщики не понимают в чем дело, говорят, все в порядке, однажды заработают – не будут же вечно стоять.

Это должно было произойти потом. А сейчас Влад не владел собой:

– Я вашу...

На балконе что-то треснуло так, как если бы ручка выпала из портфеля школьника. На самом же деле произошло следующее: волна от голоса Влада окатила Желудка и повалила его на балконе. Все обошлось хорошо. Бедняга мог и умереть! Будто случившегося было мало.

По правде говоря, учитель Цатур, Арут и Мир не из категории быстро сдающихся.

– Я остаюсь...

Последнего слова не было, не вышло из уст Цатура.

– Я...

Второй же только и сумел произнести:

– Ы-ы-ы!

Кажется, наступал конец света.

От хохота полоумного Вазгена с макушки дерева грохнулась кошка.

Собака наконец поняла, что настало время драпать.

Полуголый ребенок еще раз помочился в имеющуюся на нем одежду.

Захохотал и Влад.

Казалось, этим и должен закончиться рассказ – хохотом Влада. Однако тут имело место самое удивительное и красивое происшествие этого дня – послышался голос дворничихи, которая пришла убирать остатки дня. А этот голос действительно был мудрым:
– Спустили бы хоть этого беднягу с дерева...



Алексей Гогуа

Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (Москва). Автор многих прозаических книг. Лауреат Государственной премии Республики Абхазия им. Д.И. Гулиа. Рассказы переведены на основные европейские, русский, грузинский и японский языки. Живет в Сухуме.

Перевод с армянского Ашота Бегларяна

Стелется, ползет густой туман. Оглушенный, израненный войной, город притаился в нем. Притаились и псы, в одночасье превратившиеся в бродячих, мечущихся с перепугу все эти дни и ночи по городу. Еще не рассвело.

...Пятка...видимо, боль в ней так рано подняла его. Раны поглубже тоже затянулись только-только, но болела лишь она.

«...Может, там, где не коснулись ее воды Стикса, или там, где сжимали тиски Аинаржи, и осталось незакаленным...» – грустно усмехнулся он. У моря туман был еще гуще. Он прятал слезящиеся лужицы в продавленном гусеницами танков бетоне на набережной. Все кругом было забито, заглушено туманом. Доносился лишь глухой шум моря. По времени уже была весна, но было не по-весеннему промозгло и холодно. И туман был не то, что называют «расти трава», а мокрый и холодный, как прикосновение змеиной кожи. Он невольно повернулся и посмотрел в сторону города: кое-где холодно горели желтые тусклые огоньки, а дальше все было темно и молчаливо.

Боль, но еще какое-то предчувствие заставило его вскочить так рано из постели. Ему показалось, что отовсюду что-то собирается. Оно забралось в дом, подняло его, заронив в душу смятение. Еще тогда, накануне, его заполняло предчувствие войны, запах перегара, который держался в воздухе.

Кто знает, когда было обронено семя этой только что пробушевавшей войны. Время проходит своей чередой, но не все проходит вместе с ним, не все, чему положено отойти в прошлое. И семя, оброненное в него и не успевшее во время созреть и отойти в прошлое, созревает однажды и всходит, пробив и прошлое, и настоящее. Что-то все время преследует меня, думает человек, терзаемый сомнениями, чувствует, что не все, кажущееся прошлым, отстало, кое-что преследует, идет следом, наступает на пятки. Потому у него всегда замирает спина или ноет пятка, тем более если она болит. А сам он идет, боясь обернуться, словно ему поручено идти по жизни, неся кувшин с ритуальной водой – адзхиампш – водой-неповорачивайкой.

Еще до войны он пристрастился к каждодневным утренним прогулкам по морскому берегу, к разминкам. И после войны старался следовать этой своей хорошей привычке. Хотя ему сейчас мешали старые раны, особенно пятка. Сегодня он вышел просто слишком рано. Можно сказать, не вышел, а его выбросило. Не возвращаться же ему обратно.

Аинаржи – кузнец Нартов (абхазский нартский эпос)

Он давно заметил, что появление таких предчувствий сопровождалось какой-то невидимой, но ощутимой силой. Хотя до него она доходила легким дуновением, он до замирания сердца чувствовал, как это исходит из каких-то немыслимых глубин. Иногда она осторожно втягивала его в свое силовое поле и сразу же завладевала им и заполняла тихим неистовством, тихим помешательством, как он это называл в душе. Но это были мгновения, и она не давала ему насладиться или воспользоваться этим. А чаще проносилась мимо, не задевая его, но каким-то образом удерживая его возле себя, он это чувствовал.

Сегодня она не заключила его в свои объятия, но находилась совсем рядом и, не переставая, давала о себе знать. Чтобы не замочить ноги в лужицах, которые прятались в тумане, он, осторожно ступая, дошел до бордюра, отделявшего море от набережной. Из-под шума моря, заглушаемого туманом и безмолвием, шли какие-то странные звуки. Достигая его слуха, они начинали удаляться и исчезали, и через какую-то паузу опять повторялись. Кто мог издавать такие звуки? Если бы это была какая-то тварь, обитающая на земле или в воде, он опознал бы. Когда ему становилось невыносимо, он иногда обращал лицо к небу – неведомая сила, удерживавшая его около себя, тоже шла сверху. И местом своей неведомой судьбы он считал небеса.

Стоять долго на одном месте ему не давала пятка, она начинала ныть сильнее. Он пошел, и боль постепенно ослабела. Все остальные раны были сквозными, а в пятку попали несколько мелких осколков и, не задев кость, глубоко вошли в тело. И сейчас иногда появляются такие же боли, какие были тогда, когда их вытаскивали прямо из живого тела, пока были «свежие». За все это время волей-неволей он хорошо изучил признаки этой боли. Может, вообще лучше всего он знает это. Действительно, как только начинаешь себя проверять, оказывается, что ты ничего толком не знаешь, и больше всего, как ни страшно, самого себя. Даже та неведомая сила, источник его тревожных предчувствий, на мгновения увлекающая в свое силовое поле или постоянно удерживающая его около себя, как быка, привязанного к арбе, знает о нем больше, чем он сам о себе. И недаром она всегда настигает его, когда он долго остается один на один с жизнью, вслепую шаря в пустоте. Он продолжал ковылять вперед. Странные звуки, поразившие его слух, настойчиво преследовали его и понемногу возрастали, раздаваясь постоянно, монотонно.

Сильные боли уйдут или сведут в могилу. А такая, ноющая, бывает долгой и постоянной. И о ней как-то неудобно и говорить, особенно сейчас, когда каждый второй под своими одеждами прячет такие глу-

бокие шрамы. Когда-то, видимо, ни болячки, ни боли не имели названия. Но однажды, когда боль стала невыносимой, человек указал на болевую точку и озвучил ее. И тогда ему наверняка стало легче – он передал названию, слову какую-то часть боли. Более того, назвав ее, он уже с кем-то поделился ею, возможно, даже с пространством.

Может, не труд, а боль создала человека?

Он продолжал продвигаться в тумане, осторожно, на ощупь, ставя ноги так, чтобы не споткнуться, и прихрамывал. Дошел до того места, которое называли лесопарком. Здесь повсюду под деревьями были густые кустарниковые заросли, и кругом лежала напластованная многолетняя опавшая листва.

Вдруг опять что-то заставило его остановиться – звуки стали отчетливее. Уже было понятно, что это точно не птицы и никакого отношения не имеют к небесам. Это очень походило на вой, но не на собачий или волчий. А может, это другая сила, под стать той, которая доходила до него легким дуновением, но уже из преисподней.

На душе стало жутковато. Пятка заныла еще сильнее. Туман покрывал землю густой волнистой пеленой. Может, перейти на поляну у набережной, в парковой рощице, где он обычно делал гимнастику по утрам, и переждать рассвет? Он посмотрел туда и вздрогнул: кусты, разросшиеся под всей рощицей, были густо-густо усыпаны какими-то горящими огоньками, иголочными головками, прожигающими туман. Они мерцали, пульсировали, были живыми. Ему показалось, что это горячее дыхание тех странных звуков.

Он осмотрелся кругом, везде было так же, все было густо усыпано огоньками, несметными точечками, прожигающими туман.

...Он не раз попадал в такие переделки, в которых почти не было шансов остаться в живых, но не дрогнул. Но то, что происходило сейчас, было просто непосильно, и ничего здесь от него не зависело. Все время что-то происходит, но это было не то, что происходит всегда ... Человек устает рано, и душа его просит покоя. Он старается многого не замечать, обходить, старается не расстраиваться... Пока не споткнется сильно опять о что-нибудь... Все швы жизни залеплены, как гнидами, ложью, изменой, мышинной возней... Да, в этом мире нет постоянного добра, но как обстоят дела с постоянным злом?...

Обычно так мерцают ночью волчьи глаза. Он даже не удивился, что этих мерцающих огоньков так много, словно не могло быть иначе. Видимо, это все же волки. Но откуда их столько, откуда вообще они могли появиться. Может, взобраться на дерево? Это ему наверняка подсказывает та неведомая сила, которая настигает его повсюду. Сегодня она

ни разу не заключала его в свое силовое поле, но удерживает его возле себя. Он решился и пошел по направлению к полянке. Как только он вошел в рощицу, огоньки-угольки на кустах хищно замерцали. Станные звуки, походившие на вой, заметно усилились и казалось, стали горячее. Все это чуть не сбilo его с ног. Он удержался, но невыносимой болью заныла пятка. Он чуть не вскрикнул от боли, но, закусив губу до крови, заглушил боль – и своя кровь показалась ему солонее. Затаенный вой и выдыхаемые вместе с ним испарения сопровождалась еще итяжелым душком, напоминавшим запах краски брони горящего танка, политой человеческой кровью. Его затошнило.

Между тем все гуще, удушливее становились и запахи, и звуки, походившие на вой. Не раздумывая, он подошел к одному из деревьев и подпрыгнул, как-то неудобно схватился за ветвь и чуть было не сорвался, но, сделав усилие, удержался. Что-то хрустнуло в правом плече. Оно тоже было ранено, но давно не давало о себе знать.

Как только он вспрыгнул, странные звуки превратились в глухие рычания. И душок стал невыносимее. Ему даже показалось, что раздалось клацанье зубов, и он выше подобрал ноги, сделал рывок и поднялся на сук. Видимо, эти твари подпрыгнули, и он услышал, как они царапнули когтями по коре дерева. Тогда он стал быстро карабкаться вверх. Где-то посередине дерева он остановился и посмотрел вниз, надеясь увидеть хотя бы очертания этих тварей. Ничего не увидев, кроме клубящегося тумана, он стал лезть выше. Наконец выбрал место, где было больше ветвей, и уселся на них поудобнее и покрепче. Немного перевел дух, с высоты своего положения обвел взглядом окрест и увидел, как все кругом густо усыпано пылью огоньков-угольков, прожигавших туман. Видимо, кроме него, никто не видит и не слышит всего этого. Кругом стоит гнетущая тишина. Видимо та сила сегодня позволила ему увидеть, услышать все это. Но зачем – чтобы держать его в страхе, или предупреждает его?

Отсюда уже было виднее, как рассвет опускался на побережье и просачивался через туман. Сверху город со своими высокими потушенными зданиями походил на мираж. Только кое-где тускло горели желтые огоньки. Они не мерцали, не пульсировали, как огоньки-угольки, которыми было усыпано побережье. Эти редкие огоньки из города могли быть светом свечей, электричество часто выключалось.

Видимо, там, в городе, у многих тоже было предчувствие, что что-то собирается, надвигается. Лишь бы это не было изменой... Все остальное как-то переносится.

Все же у него всегда теплилась надежда, что не может все кончиться,

оставив небо пустым. Этим необозримым миром, жизнью, вкрапленными в нее людьми, думал он, должно руководить что-то более разумное. Всеобщая гибель, видимо, никому не в радость, ни этой силе, ни Богу, ни дьяволу, ни агнцу.

Над морем туман уже рассеивался, редел. Пока море было плохо видно, но его стало слышнее. Уже светало, и это его немного успокаивало. Под ним туман еще был густ, несметные огоньки-угольки так же мерцали, пульсировали.

... Если это волки, они что ни на есть матерые... Вой уже доносился вяло. Но смрадное дыхание, смешанное с запахом горячей крови, не уменьшалось. Его поташнивало.

...А может быть, они это делают, чтобы лишить его сознания и свалить с дерева?.. Через некоторое время к этим запахам примешался едкий запах мочевины. Это наверняка волки. Они, видимо, метят мочой свою территорию. Может, охватив весь город, может, и не только...

В рощице туман еще держался почти нетронутым, и несмотря на то, что огоньки-угольки на кустах пожелтели, они еще живо мерцали и пульсировали. Через некоторое время на уже обнажившейся набережной он заметил чью-то фигуру. А сила, которая всегда удерживала его возле себя и утяжеляла дыхание, совсем притаилась. Так иногда она незаметно расслабляла связи с жизнью и, казалось, на некоторое время отставала от нее, предоставив ее самой себе.

В мелькнувшей фигуре он узнал старика, всегда раньше него приходившего и купавшегося летом и зимой. К купанию старик относился как к священнодействию: медленно спускался к морю, медленно снимал и аккуратно складывал одежду и так же медленно, почти торжественно входил в воду. И, два-три раза окунувшись, так же торжественно выходил из нее. Его знали все, приходившие сюда спозаранок поразмяться, побегать, покупаться. Знали как ветерана войны, той, Великой Отечественной, ветерана труда, зимнего купания, распития кофе на берегу, игры в забивание козла под эвкалиптами. Он не очень жаловал его за то, что старик спекулировал своим положением, долголетием, но сейчас стал за него беспокоиться. У него тоже есть свой маршрут, и он обязательно его пройдет, как это делает каждое утро. А если он пройдет границы, помеченные этими тварями с глазами-огоньками? Уже во всем лесопарке они изрядно пожелтели, но мерцают так же хищно, пульсируют.

Как только он стал думать так, запах мочевины стал невыносимым, вой опять возобновился. Сильнее заныла пятка.

...А если окликнуть его, остановить?.. Но это может быть опаснее...

Старик все приближался, то ныряя в еще не рассеянных местах тумана, то выныривая, то шагом, то легкой рысцой. Поравнявшись с поляной, он повернул лицо в ее сторону и так держал его, пока не прошел. Дальше он пошел спокойным шагом и, отойдя буквально десятков шагов, повернул обратно. Никогда он так не делал, не возвращался на полпути. Хотя этот маршрут он проделывал ради этой поляны, ради тех, кто каждое утро собирался здесь. Это было излюбленным местом для видных людей, чиновников города. Поэтому он равнение держал на поляну, проходя туда и обратно. Сейчас обратно он прошел, не поворачивая лица в сторону поляны, потому что там сегодня пока никого не было.

Пока он из года в год совершал этот вояж, сменились многие, уходили одни, приходили новые. Сейчас поляну посещали в основном новые лица, многим из которых до войны сюда вообще не было хода. Но старик был уверен, что здесь не может быть человека, который не знал бы его, не восхищался бы им, его выправкой и прочностью, им, знаменитым ветераном той большой войны, труда, круглогодичного купания, кофепития, игры в домино под эвкалиптами, долгожителя, наконец. Еще он был уверен в том, что каждый раз, когда он проходил мимо поляны, держа на нее равнение, там восхищенно говорили друг другу о том, как он прекрасно сохранился, сохранил остроту ума, характер, душу. И сам он не без гордости думал о себе, что такие, как он, осилившие такое возрастное расстояние, такие патриоты рождаются только на этом побережье, на этой земле, в этом народе. И он был убежден в том, что все, кто является утрами на эту поляну, думают так же. За это он не ленился и себя показать, и свое уважение к ним, держа равнение на них. Как армия, которая проходит мимо мавзолеев великих вождей во время парадов. А он держит парад каждое утро. Парад проходит и не возвращается, а он возвращается и на обратном пути безукоризненно держит равнение. В армии этому неплохо учили.

Ветеран не пошел, как обычно, до конца набережной, вернулся на полпути. Значит, там уже помечено, и ветеран не нарушил это пространство.

...Значит, и ветеран уже предупрежден, уже знает то, что ему неизвестно. Он один оставлен вне всего, что происходит на этом побережье в это туманное утро. Видимо, только он слышит этот распластаный, как бы из-под земли, вой, чует чье-то смрадное дыхание, видит огоньки, рассыпанные по всему побережью. Если спуститься с дерева, он даже не знает, куда можно идти, куда нельзя. Он в положении человека, вокруг которого все заминировано. Уже выглядывало бледное печальное небо. Оно было до того безучастно, будто под ним вообще нет зем-

ли, будто оно заморожено верховными силами, расположенными еще выше. У этой неведомой силы, видимо, много забот на земле, и небо парализовало. Сегодня эта сила, кажется, особо занята, и ей не до него, но на деле она неотступно напоминает о себе, не дает спокойно сидеть на этих неудобных ветвях, держит в напряжении.

Уже открылась вся набережная. Он заметил на ней еще две фигуры, шедшие недалеко друг от друга. Впереди шествовал известный в городе знаменосец, который лучше и торжественнее всех мог пронести знамя перед трибунами в торжественные официальные праздники, чеканя шаг.

Он успевал обслужить много групп. Обычно перед очередной колонной он появлялся у самых трибун. Становился на несколько шагов впереди колонны, взмывал над собой знамя и начинал чеканить шаг. Рослым знаменосца делали длинные ноги и шея, а торс был короткий, отчего в обычное время бросалась в глаза непропорциональность фигуры. Но когда он брал в руки древко знамени, и без того длинная шея вытягивалась и запрокидывала его тяжелый лошадиный череп. И весь он преображался, а знамя становилось птицей, рвущейся в небо. Как только он поднимал правую ногу, выпрямив ее как струну, и опускал на бетон площади, стук эхом отдавался на памятнике Ленину, под которым располагалась скаучающая трибуна, заполненная руководителями высшего и среднего эшелона. И на трибуне все вытягивались, с них как ветром сдувало расхлябанность. Кстати, добрая половина трибуны утрами посещала эту поляну.

Спровадив одну колонну, знаменосец успевал незаметно вернуться и занять место впереди следующей. Каждые большие праздники он успевал сопроводить несколько колонн, проходивших мимо трибун. И вдруг знаменосец куда-то исчез. Тогда было много торжественных праздников с шествиями, но он не появился на многих подряд. Каждый раз все ждали, что вот-вот он появится, но он так и не появился. И действительно, без него все эти праздники-шествия казались неинтересными.

Позже стало известно, что его парализовало. В один жаркий первомайский день, сопроводив две-три колонны, он почувствовал себя плохо. Он еле дотянул до дома, и там его свалило. Проанализировав, люди сделали такую раскладку – видимо, он не успел пополнить в организме витамины, потраченные за зиму. А умение чеканить шаг со знаменем в руках, часто под палящим солнцем, отбирало много энергии. Экономить на таком важном деле он не мог себе позволить. Через год он появился, но не на праздничном плацу, а на набережной, и то рано утром.

Знаменосец сильно изменился: исхудавшие, перекошенные плечи, неподвижная левая рука, покоившаяся на впалом животе. Ноги слушались плохо, лицо, казалось, вытянулось, стало длиннее. Но, несмотря на все это, он совершал поход до самого конца набережной – двигая правой рукой вверх-вниз, словно держа штандарт. Поравнявшись с известной поляной, он не забывал делать равнение и держать так перекошенное лицо, пока не пройдет это расстояние.

Сейчас он тоже двигался, с перекошенной фигурой, пошатываясь, но упорно продолжая «нести штандарт». А за ним шел моложавый, полнеющий человек в новенькой, изысканной спортивной форме. Шел шагом, шаги были частые, но мелкие – видно было, что хотел идти быстрее, отчаянно махал руками, словно веслами, но это не прибавляло скорости. Бывший знаменосец не давал себя догнать. Несмотря на то, что поляна еще пустовала, знаменосец повернул к ней лицо и держал так, пока не прошел это расстояние. Но пройдя мимо пустовавшей еще поляны еще с десятков шагов, остановился. Немного постояв, как бы в нерешительности повернул обратно.

Все они знают то, что ему неведомо. Вдруг поменяли маршруты. Волки не переходят границ, помеченных другими волками, – это дня них закон. Значит, для этих тоже...

Моложавый, в новеньком, изысканном спортивном костюме, поравнявшись с поляной, прямо завернул к ней. В это время заново вспыхнул запах мочевины, и он, не удержавшись, чихнул. Моложавый остановился, прислушался, но не повернул лица в его сторону. Он сильнее обхватил ствол дерева и замер. Тот прошелся по поляне, покружился и опять остановился. Поредевший туман еще держался в густых кустарниковых зарослях, и еще держались огоньки-угольки, но уже бледные, слабо мерцающие, но вой еще доносился. Моложавый же ничего не видел, не слышал.

Рассвело. Сверху он видел, как на той поляне-общаге уже собралось много людей, доносились голоса и смех. Не успел он осмотреть все вокруг, как и эту поляну, под ним, уже заполнили. Только два-три человека выполняли гимнастические движения, и то без энтузиазма. Другие же разделились небольшими группками и беседовали, тоже без особого энтузиазма. Оттуда, из отдаленной поляны-общаги все сильнее доносились голоса и смех, а отсюда ничего не было слышно из того, что говорили. По тому, как громко, развязно говорили, смеялись там, видно было, что та всемогущая сила не заключала их ни в какое силовое поле, вообще не удерживала их около себя. А вот его не отпускала и все время держала возле себя. На ближней поляне были не только

люди, но и комнатные, и охотничьи псы, с которыми они явились сюда и которых не выпускали из поля зрения. Может быть, оттого, что он их видел сверху, лица всех казались остановившимися.

В центре внимания был один, к группе которого постепенно стекались другие. А лицо его было самым остановившимся. Казалось, все, что должно было обслуживать его лицо при радости, смехе, гневе, ненависти, было выключено. И у других соответственно было приостановлено. Лица их чем-то походили на театральные маски древних подмошков.

Видимо, и здесь не обошлось без той всемогущей силы, может, их лица входят в ее номенклатуру, и она распоряжается ими... Лицо говорит о человеке в целом. Значит, не всем можно говорить все при всех.

Ни одна из собак, находившихся на поляне, ни разу не издала ни звука, не залаяла, не заскулила. Они кружились по поляне, обходя кустарниковые заросли, играли, валили друг друга, слюнявя, катались по траве. Видимо, они часто встречаются, привыкли друг к другу, как и хозяева. Собаки были разных пород, но это им было все равно. Главное, все были собаки. Охотничий сеттер немного держался стороной, дрожал, принюхивался ко всему, вдруг срывался с места, прибегал к краю поляны и сразу возвращался. Каким бы потаенным ни был этот странный вой, раздававшийся как из-под земли, собаки должны были почуять его и запах мочевины, который заполнял округу, заметить огоньки-угольки, усыпавшие кустарниковые заросли. Или это норма для них, или они дышат другим воздухом?..

Уже почти все подошли к более многочисленной группе, в центре которой стоял тот с самым застывшим лицом. Но на краю поляны оставалось отдельно от них еще несколько человек. По жестикующим было видно, что они говорят больше. И лица их, казалось, вот-вот сбросят маски и «заговорят». Почему-то у него самого при этой мысли появился страх, и сердце стало протяжно замирать. Он сразу перевел взгляд на более многочисленную группу и, увидев, что их лица остаются застывшими, успокоился.

Где-то между обеими группами стояли две девушки с мощными бедрами, которым было тесно в джинсах, натянутых на них. Видимо, они тоже говорили о своем, одна из них кивала головой направо, а другая отвечала на это кивком головы. Одна из них держала фокстерьера на довольно длинном поводке, а из-за пазухи другой выглядывала востроносая головка постоянно дрожащей чи-хуа-хуа. Хозяйка, наклонив свою гривастую голову, то и дело целовала ее, по-видимому в носик. Продолжая неудобно сидеть на ветвях, он опять посмотрел в сторону

города с тревогой. В пространстве виднелись серые очертания многоэтажек с потушенным множеством окон. Только кое-где над частными домами из труб вились дымки. Они были ровные, прямые и довольно высоко поднимались, не рассеиваясь.

Ему стало чуть-чуть лучше, и показалось, что пахнет дымом. Все, кто собрался внизу, были еще в расцвете сил. Двое-трое из них были помоложе, хотя по лицам определить это отсюда было нелегко. Но это можно было определить по тому, с каким почитанием они обращались к старшим, считавшим себя заслуживающими это. А из той поляны-общаги доносился уже просто неумолкаемый гул.

Туман окончательно рассеялся. Только из кустарниковых зарослей под деревьями еще сквозил очень редкий дымок. Но огоньков-угольков уже не было. На поляне еще не собирались расходиться. Самый важный, вокруг которого сгрудилась большая часть посетителей поляны, вдруг стал чаще и размашистее жестиковать, то и дело вытягивая длинную свою шею, словно собираясь кого-нибудь боднуть. А круг не то что отодвигался, а наоборот, смыкался теснее, будто каждый хотел, чтобы его боднули, да так, чтобы остались вмятины на видном месте и носить их можно было долго и с гордостью. Наконец важный выпрямил шею, сам выпрямился, достал из кармана большой пестрый платок и стал старательно вытирать глаза, глазницы.

Группку поменьше тоже удерживал один человек. Он был помоложе, не высок и не низок, не худ и не полон, и все его движения походили на танцевальные. Казалось, он вот-вот пойдет по кругу, но вдруг сразу останавливался как вкопанный. Приготовится – отставит, приготовится – отставит – так томился он сам и томил других. Сверху они походили на специально трамбуемых земляной пол. В конце он действительно продолжил свой танец-походку и подошел к основной группе. Остальные повторили его путь. Все они хорошо выглядели и были в дорогих спортивных костюмах, что в этих местах после войны было роскошью.

... Есть такие, для которых вся жизнь – непосильная ноша, груз, а кто-то шествует по жизни, неся только свою голову, поместив ее меж широких плеч, как дитя на шее отца во время праздников..

Слившись в одну группу, хозяева так стали заняты собой, что позабыли о своих псах. Собаки, освободившись от их опеки, перевернули всю поляну своими играми. Каждая из собак то и дело подходила к людям и, убедившись, что ее хозяин еще здесь, опять предавалась играм. Они столько бегали внутри поляны, кувыркались, дурачились, набрасывались друг на друга любовно, но ни разу не пересекли границы

поляны. Так тщательно соблюдали они эту дистанцию.

Один доберман-пинчер, не очень активный в играх, часто застывал на месте. Вдруг он зарычал и рванулся к кустарниковым зарослям, которые были под тем деревом, на которое он взобрался. Все разом посмотрели в его сторону. И у всех «маски» приобрели одинаковое выражение, как у актеров древней сцены, исполняющих роли терпящих Божий гнев за какие-то прегрешения.

– Назад! – крикнул на доберман-пинчера один из сгрудившихся на поляне вокруг самого важного, с заметным трудом высвободив голос, настроенный на установившийся общий ритм. Видимо, его хозяин. И собака осеклась и подалась назад, уронив воинственно поднятую морду, поджав короткий тупой хвост. Выхodka собаки и то, что она преступила черту, позволенную, видимо, той всемогущей силой, отразилось на всех, и на их «маски» набежала тревожная тень.

... Настроение испорчено, может быть, уберутся наконец...

Как только прикрикнули на одну из собак, все остальные моментально притихли, перестали играть, приняхиваться друг к другу, понемногу каждая подходила к своему хозяину и стояла, прижавшись к нему. Только один сеттер продолжал дрожать, кружиться и приняхиваться к земле.

Просветлело. Побережье обнажилось окончательно под прохладным сероватым небом. От такого долгого сидения на неудобных ветвях ноги у него сильно отекали. Уже он ничего не слышал – ни воя, ни рычания, но запахи почему-то усилились. Может, они поднимались от земли вверх, чтобы совсем рассеяться в воздухе. Он стал просто задыхаться от них и, не удержавшись, со всего маху чихнул. Одна из веток, на которых он сидел, треснула. Он схватился за ветку сверху, но она тоже треснула. «А-а-а!» – вскрикнул он и едва успел обхватить ствол и удержаться.

Внизу на поляне все завертелось, собаки завизжали, залаяли, пересекли границы поляны и, выстроившись вокруг ствола, на котором он сидел, выстреливали свирепым лаем вверх, оглашая всю набережную. Почему-то невидимая сила, удерживавшая все живое в ежовых рукавицах, не препятствовала, позволяла им.

Как только он чихнул, тот, самый важный, вокруг которого все сгруппировались, исподтишка посмотрел в сторону дерева и в мгновение ока очутился на набережной. Остальные быстро догнали его и, окружив его и заполнив набережную, решительно и быстро зашагали вперед. И вся свора собак, визжа, ворча, ринулась за ними, попутно ища своих хозяев. Некоторое время задержались на поляне сенбернар и ротвейлер, не

разобравшись, куда и за кем им побежать. Оба ни по породе были овчарами, и их обязанностью было следить за отарой, не допускать, чтобы овцы разбрелись, то и дело стогать их в кучу. Нынче, когда они обитают в тесных городских помещениях, в них иногда рождается пастушеский инстинкт, который у них в крови, но они не знают, как его применить в таких условиях. Сейчас, когда началась суматоха, опять в них проснулся старый инстинкт, но, все перепутав, они стали облаивать друга друга. У этих потомственных мясоедов столько сил копится, что негде их тратить в нынешних «пастушьих» постах, тесных квартирах. Благо, что они любят спать. А получив какую-то возможность выгулов, они стараются растратить силы. Но и здесь им тоже не дают развернуться, у этого стада, у людей, свои, устраивающие их одних, правила.

Восточные овчарки по происхождению своему тоже относятся к этой профессии. Но они оказались способными окончательно перестроиться, адаптироваться и занимаются исключительно обслуживанием людей. Под конец, услышав резкие окрики своих хозяев, сенбернар и ротвейлер замолкли, еще раз посмотрели друг на друга и побежали догонять других. Надо было спешить. Он понимал, что надо быстро слезть и уйти. Но еще некоторое время он обнимал ствол дерева и чего-то ждал. И та сила, которая заколдовала все между небом и землей, все время удерживавшая его возле себя, почему-то к рассвету расслабилась и дала расслабиться всем. Так развязывают у ребенка руки, которыми он еще не владеет. А вот ему она так и не дала расслабиться, не то жалуя, не то назидая, не то пугая... И сейчас, когда ему надо поскорее бежать, он не мог решиться, будто ждал чьего-то позволения.

...За всю свою жизнь он не оставил нигде своих долгов, ни разу не устранился от своих обязанностей... А сила эта, приметив его, не то жалует, не то порицает... Если бы можно было самому попроситься, чтобы она пропустила его к себе через эту невидимую черту, за которой она его держит. В это время до него донесся яростный вой сирены. Успели, подумал он, меры принять. В пятке кольнуло и опять заныло, и это вывело его из оцепенения. И сразу же до него стали четче доходить звуки пространства вместе с энергичным шумом моря. В мгновение ока он уже стоял на земле и так же стремительно направился к набережной, где уже было достаточно прогуливающих, проходящих сюда утром размяться. Одни проходили быстрым шагом, другие рысцой, одиночками, небольшими группами. И он попробовал медленной рысцой направиться вверх.

Еще несколько раз прорывался вой сирены. Ему хотелось быстрее окантаться подальше от этого места, но не очень получалось – что-то не от-

пускало, все тянуло назад. Это ему часто снилось, будто он хочет оставить опасное место и поскорее уйти от преследования, старается, а не может сдвинуться с места. Сейчас он вспомнил, как предполагалось поступать в таких случаях: выбросить какой-нибудь свой предмет – кисет, газыри, даже что-нибудь из верхней одежды. Он стал шарить по карманам, вдруг пальцы его наткнулись на что-то острое, и он рванул руку, словно обжегся. Кажется, выходя, в спешке он надел свою поношенную военную гимнастерку, в кармане которой хранил завернутым в бинт самый большой из осколков, которые вытащили из пятки.

В это время у поляны, от которой он убегал, раздались резкие скрипы ржавых тормозов и одновременно сильно хлопнули дверцами машин. Он вынул из кармана то, что держал в руке, и уронил. Сначала действительно ему показалось, что немного отпустило, и он стал продвигаться нормально. Но вскоре убедился, что это совсем не так. Ему не давали бежать легкой трусцой, свободно – все пробегали туда и обратно по узкому тротуару, довольно грубо задевая друг друга плечами. Никто не хотел прыгать по лужам по самой набережной. Бегали в основном молодые. Были и совсем юные, которые в жизни ничего еще не нюхали. Приближаясь, они нагловато прицеливались глазами. Если не успеть отвернуться, они могут сбить с ног, перепрыгнуть через тебя и бежать дальше.

Какой-то амбал приближался к нему, выпучив ничего невидящие глаза. Вдруг он показался ему тем противником, который надвигался, чтобы сразить и навсегда потушить всего тебя. Он дал ему приблизиться и резко убрал в сторону свое когда-то простреленное плечо. Амбал, не удержавшись, ударился о бетонный столб, отскочил и еле удержался на ногах. Слышно было, как он выругался, а может, хотел дать сдачи, но бегущих стало так много, что лучше было не потерять свое удобное место.

Здесь он переборщил, надо быть поосторожнее. Если с ним произойдет какой-нибудь инцидент, сюда могут прибежать те, кто только что вышел из машин, громко хлопая дверцами. Они наверняка ищут того, кто сидел на дереве, над поляной, где обычно собирается городская, а то и республиканская элита. Он давно перешел бы на набережную, где на каждом шагу слезились лужицы, ушел бы из этой давки, но и это могли взять под подозрение.

Из-за того, что он так разволновался, опять больно заныла лодыжка. Так запылала, что он захромал на эту ногу. И сразу заметил, что, как только захромал, бегущие прямо на него стали нехотя сторониться, а иногда и прыгивать с тротуара. Он захромал сильнее, низко припадая

вправо. Встречные бегуны все чаще спрыгивали с парапета. Где-то сзади опять завывали сирены, видимо, объявляли отбой. Все же они просто так не ушли бы. Наверняка оставили кого-то, чтобы продолжать следить. Это надо было помнить. А он хромал все больше и больше, резче припадал вправо и быстрее, чем просто шагом, продвигался вперед. То и дело он опускал руки в карман и шарил в нем, там, конечно, было пусто. От того, что он бежал и сильно прихрамывал, пятка ныла больнее. ...Может, там, где не коснулись воды Стикса, или сжимали тиски Аи-наржи, и осталось незакаленным...

1998

Перевод с абхазского Надежды Венедиктовой



Эльчин Гусейнбейли

Родился в 1961 году. Автор многих прозаических книг и пьес. Большинство произведений переведено на русский, английский, польский, корейский, арабский, немецкий, грузинский языки, переложено на тюркский и узбекский. Обладатель многих престижных литературных и государственных премий. Главный редактор журнала "Улдуз" ("Звезда") Союза Писателей Азербайджана.

Живет в Баку.

Девушка от «CALDION»

Тот рекламный бренд, наверное, многие видели. В метро, например, стены вагонов украшает. Он и она рекламируют дезодорант фирмы «Caldion»: «So him, so her». То бишь, примерно, и для мужчины, и для прекрасного пола.

Каждое утро, отправляясь в метро на работу, созерцаю эту парочку. На их лицах столько взаимного страстного обожания, что глаз не оторвешь.

Несомненно, все мужчины, включая меня, глазят на рекламную диву. Она так хороша, так обворожительна, кожа – шелк, белое атласное платье-декольте, кажется, вот-вот спадет с нее, и она предстанет в чем мать родила. Подумалось, что она, как героиня немецкого писателя Зюскинда, – химичка-парфюмер, которая дохимичилась до того, что и сама превратилась в духи. Как эта – в сексуальный манекен.

Носик кнопкой, губы сочные, страстные, глаза источают кроткое томление и желание. Комплексом вины не страдает. Она смотрит не на предмет своей страсти, то есть на парня (на месте которого мог быть и я), а куда-то мимо. Любящей женщине надо заглянуть в глаза. Это не я, а классики наши сказали. Глаза у любящей (да и у любящего) светятся, сияют, зрачки расширены, рот приоткрыт, губы повлажнили от жаркого дыхания, сосцы груди явно проступают, щеки пылают... как тут оставаться безучастным? Как не втюриться? Ну, положим, втрескался, а как, думаешь, выглядит она в постели? Наверное, поутру она напоминает только что раскрывшийся подснежник. Протирает сонные глазки, сны свои цветные вспоминает.

И вот однажды я еду в метро и так же гляжу на рекламу, вернее, на многообещающие страстные губы и округлые белые плечи. Вдруг кто-то легонько потянул за локоть. Я не придавал значения. Дерганье повторилось. Проклиная мысленно нарушителя моего транса, я обернулся. Возле меня стоял старый знакомец. Я удивился. Ибо он никогда не ездил в метро. В юности катался на папиной служебной машине, а впоследствии пользовался своей. Высок, статен, спортивного сложения, словом, Бог не обидел, и сам себя в обиду не даст.

– Так дороги раскурочили, что на машине не пробиться. Потому вот приходится на метро, – посетовал он.

Я солидарно покачал головой. Почему-то стало жаль моего приятеля, вынужденного снизойти до подземного транспорта. Он адвокат, но, увы, не Цицерон. Потому на процессы не ходит, открыл себе контору, управляет ею. Тоже неплохо, набегают, как он говорит, кое-какие манаты.

Поговорили про житье-бытье, и я снова уставился на картинку, при этом чувствуя, что приятель наблюдает за моим повышенным интересом.

– Лакомый кусочек, не так ли? – шепнул он мне в ухо.

– Да. Хороша.

– А знаешь, в чем ее шарм?

Я промолчал, так как не знал ответа на этот вопрос.

– В тайне. Ее красота – в тайне.

– Может быть.

Теперь я смотрел на проступающие сквозь эротичные губы, ровные перламутровые зубы. Воображал ее поступь, ее грацию.

Откуда в ней эти чары?

– Я знаю ее, – приятель опять выдал мне в ухо.

Я вытаращил глаза.

– Да, понимаю, в это трудно поверить... Но я действительно знаю ее, – приятель говорил очень уверенно. – Живет в Москве...

Некоторое время мы хранили молчание. Кажется, он что-то хотел рассказать, но не решался.

– Откуда же ты знаешь ее?

– Оттуда же, откуда ты.

– Я-то не знаю.

– Что значит – не знаю? Если ты видишь ее портрет, – стало быть, знаешь. Можешь даже видеть ее во сне... Просто не знаешь ее имени... Другое дело – она. Она не знает тебя, потому что не может лицезреть тебя. Я уже досадовал на встречу со старым приятелем, потому что он, похоже, вознамерился лишить меня получаемого визуального удовольствия.

– Догадываюсь, о чем ты думаешь: считаешь, что я понтирую, треплюсь... Но я действительно знаю ее... Весьма загадочная женщина. Знал бы ты, какие тайны скрываются за этой рекламной приманкой, – не стал бы паяться...

– Какие такие тайны?

– Это долгий разговор. Впрочем, тебе будет небезынтересно. Ты ведь у нас писатель. Чем черт не шутит, может, возьмешь и накатаешь... Но, чур, моего имени не упоминай.

– Давай тогда отправимся ко мне в редакцию. Там и расскажешь.

– Нет, лучше ко мне, в офис. Девчонки чай тебе подадут. Такое у нас правило: чай наготове. Кроме того, наш офис – на первом этаже. Не то что ваша «голубятня». Ну, пришли мы в его офис, чуть повыше кино-театра «Низами», между магазинами приютился, и вывески никакой,

несведущий и не доищется.

Едва я вошел, как на столике появился огненный чай со всем антуражем – лимон, сахар, конфеты, печенье.

Я с нетерпением ждал, когда он начнет рассказывать. Наконец, он заговорил. Да так складно, с чувством, толком, расстановкой, что я подивился его вдохновенному красноречию, – ведь раньше таких способностей я за ним не замечал. Возможно, его воодушевляла некая сила, может, тайна, о которой он упоминал.

– Хочешь верь, хочешь нет, но история, о которой поведаю тебе – сущая правда.

Так вот, о той «прекрасной незнакомке». Портреты ее красуются везде: в журналах, рекламных щитах, на телеэкране. Рекламная модель. Я впервые увидел на ее фото в журнале «Kosmopolitan». В рекламе нижнего белья, черного, с кружевной бахромой. Белое тело и черная ночнушка, представь себе. Под портретом адрес агентства в Интернете, телефон. Я не мог оторвать взора от нее. «Невозможно быть такой красивой и чувственной», – думал я, уподобляя ее райским гуриям. Не мог насмотреться, ночи не спал, грезил о ней, пришлось прибегать к снотворному. В конце концов один из моих приятелей, врач, сказал, что опасается за мое сердце, и если так пойдет, то мне придется распрощаться с моей смазливой внешностью. Не зная о причине моей маяты, он догадывался, что я в кого-то втюрился. Да и жена заподозрила неладное. Но помалкивала, не имея серьезных оснований, вернее улик. Однажды ночью мне пришла в голову идея: а что если мне поискать и найти ее? Денег у меня хватает, на ум не жалею. Офис на время перепоручу кому-нибудь.

В ту же ночь по Интернету я отправил письмо, запросил информацию о рекламной диве. Прошло несколько дней. Ответа не последовало. Я позвонил в Москву, в агентство. Сотрудник ответил, что о моделях они информацию не дают.

«Скажите хотя бы, замужем она или нет?» – попросил я. И услышал в трубке хохот. «Я звоню из Баку», – говорю. «Это не имеет значения».

Делать нечего. Пришлось мне лететь в Москву. Студенческие воспоминания мои еще не рассеялись, Москва, как и полтора десятка лет тому назад, пахла бензиновой гарью и духом зеленого змия, но город преобразился. Большинство знакомых гостиниц снесли, одна «Россия» еще уцелела, похожая на общипанного орла.

Я взял номер, привел себя в порядок, принял душ, утирая волосы, взял трубку и набрал номер рекламного агентства. Услышал тот же ответ, мол, сведений о моделях не даем.

Был месяц май, только что перестал лить дождь, выглянуло солнце. Такая погода наводит тоску, во всяком случае на меня, хоть вешайся. Наверно, ты знаешь, что весной число суицидов возрастает. Короче, найти это агентство не представляло труда. Ты ведь знаешь Арбат?

– Я не бывал в Москве.

– Ну, эта улица вроде нашей Торговой, но пошире. Там, на Арбате, был парфюмерный магазин, теперь там расположилось рекламное агентство. Быть кавказцем и являться к московским дамам с пустыми руками негоже. Накупил кое-чего, духи, шампанское, шоколад. Ты-то веришь в мой вкус, наверно. Но работники агентства не могли припомнить ту диву. Ни одна. Но я не думал отступать. Директрисой агентства была пожилая дама. Молодые сказали бы: «не первой свежести», пожилые: «еще в соку», а старики подумали бы: «видно, в молодости была огонь-баба». Разве не знаешь наших? Приплетут обязательно что-нибудь. Но женщина вела себя очень приветливо. Может, тут сыграла роль «Шанель», преподнесенная ей. Подарками, знаешь, можно отпереть любую дверь. Директриса явно симпатизировала мне. «Кавказским орлом» даже назвала. Вызвала одного за другим фотографов, расспрашивала о диве. Бородач по имени Олег сказал:

– Я понял, кого он имеет в виду: это наша Юлия.

– Юлия? – удивилась директриса.

– Почему все ищут ее? Бедная Юлька... Она-то уже у нас не работает. В стриптизерши подалась... в ресторане.

Это не охладило мой пыл. Не зря же я проделал такой путь.

Я наблюдал за моим старым знакомцем, слушал рассказ и пытаюсь определить степень искренности и достоверности. Лицо у него светилося простодушной улыбкой. Такие люди врать не умеют.

Олег сообщил, что Юля работает в китайском ресторане на окраине города, там богатая клиентура. Вечером я отправился туда. Ресторан оказался внешне непритязательным одноэтажным домом с облупившейся штукатуркой.

Официанты – китайцы, а распорядитель – русский. Я сел напротив сцены, заказал водку «Русский стандарт» с грибным салатом. Другой еды не захотел, опасаясь сюрпризов китайской кухни вроде собачатины или еще чего. Ведущий возвестил, что начнется танец «Семи красавиц», выплыли в разноцветных пеньюарах красотки. Стриптиз был не из тех обычных, киношных, а представлял собой продуманное зрелище. Наконец стриптизерши начали разоблачаться. И я сразу узнал рекламную диву; наши глаза встретились; почудилось, что она смотрит на меня так, как если бы знала меня; да, все тот же страстный взор.

Я не отрывал глаз с нее. И при каждом выходе в первую очередь обращал внимание на нее. Время от времени пропускал рюмочку. Но, странное дело, не пьянел. Поодаль сидела компания китайцев, среди них был старик с жидкой бородкой. Девушки то и дело вились вокруг него и выуживали куш. По правде, я испытывал ревность; я ревновал рекламную красотку, впервые видя ее в глаза. Ревность, конечно, паршивое чувство, выдает человека с головой.

Вдруг возле меня возникла пожилая, изрядно навороченная матрона.

– Нравится тебе она? – лукаво уставилась на меня. Я усек, что это «мама-роза».

– Хороша, – буркнул я.

– Да, хороша «джаныйанмыш»...

Я перебил приятеля:

– А как по-русски это звучит?

– Ты мне не веришь? – он как бы обиделся.

– Да нет, просто так спрашиваю.

– Не помню уж как. Смысл такой.

– Ну, давай дальше.

– Матрона мне: если хочешь, могу на ночь ее «в аренду» сдать. И заломила такую цену... не хочу даже называть. В час ночи рестораны закрыты. Матрона, взяв с меня задаток – полцены, пошла за красоткой. И вот она, Юлия, в тонкой куртке, короткой юбке, фигурка – блеск. «Мама-роза» сказала, что проблема с ночлегом входит в их обязанности, и такси отвезет нас по нужному адресу. Мы должны «закруглиться» к 11 часам утра.

Сбылась моя мечта. Я в просторной спальне, освещенной ночником, на одной кровати с давно вожделенной дамой... Но одно казалось мне странным. В моей теперь уже партнерше чего-то не доставало. Она смахивала на манекен. Страстность, которая воображалась мне по фото, исчезла. Она выглядела бесчувственной как пень. Тело холодное, будто и не осязающее ничего. Порой она ласкала и целовала меня, видимо, для блезира, чтобы не обидеть. Я ей расписывал, как влюбился в нее заочно, как грезил ею, сказал, откуда родом. Она рассмеялась. И смех такой загадочный, странный, будто кто-то вместо нее смеялся. Машинально, заученно.

До утра я не сомкнул глаз. А ей хоть бы хны, уснула, посапывает как дитя. Наутро я ей сказал, что хочу вернуться в Баку. Но хотел бы узнать...

– Я тебя разочаровала? – перебила она.

– Не то слово, – говорю.

Она задержала на мне взгляд, взяла с тумбочки сигарету, закурила, сделав затяжку и выдохнув дым, шутливо заметила:

– Много будешь знать – рано состаришься...

– Я не узнал тебя. Вот что странно.

– Да ты и не можешь узнать, – снова засмеялась она.

– Во всяком случае, было бы интересно.

– Ты в этом уверен?

Я кивнул, она выдержала паузу, уставившись взглядом в невидимую точку.

– Я знаю, что ты не поверишь мне, но я все-таки скажу. Сперва мне никто не верит. А если не верит, значит, не любит. А любить – значит верить. Возможно, в этом и нет необходимости... Но человеку, проделавшему такой дальний путь, думаю, можно...

Я был готов поверить во все, что она ни скажет. Даже если б сказала, что происходит от ящерицы. Кажется, она почувствовала, что у меня на сердце. Голос ее прозвучал печально-безнадежно.

– Я дух. Я вроде и существую, и пребываю в нетях...

Теперь она была похожа на ту, которой представала на фотографиях.

– Как это – в нетях? Вот же, я касаюсь рукой, это ты.

– Когда умерла моя сестренка, пяти лет от роду, мать с отцом думали о ней и только о ней, даже в постели... Потому душа сестренки переселилась в меня. Так мне кажется. Я некоторое время размышляла об этом, даже парапсихологией интересовалась. В детстве мне снились такие сны, что мама, выслушав меня, говорила: «Душа сестренки вселилась в тебя... потому что этот случай был на самом деле». Например, была у сестренки моей белая киска, ножку ей дверью прищемило. Я до сих пор вижу этот сон. Событие – есть, а эмоций никаких.

– Может, это тебе только кажется? – сочувственно спросил я.

– А тебе как кажется? Не кажется ли тебе, что я бесчувственная?

Я не хотел лгать, потому промолчал.

– Иногда я бываю в таком состоянии, что хоть режь – не почувствую.

Меня оторопь пробрала от этих слов. Я вспомнил отзыв директрисы агентства: «У нее было два мужа, оба покончили с собой».

Она легла в постель, расслабилась, словно избавилась от какого-то груза. Когда я выходил, она сказала вдогонку:

– Если захочешь, в следующий раз можешь оставаться без оплаты, – и засмеялась.

Я, не ответив, закрыл за собой дверь. Вернувшись в Баку, я заново просмотрел ее снимки, вырезанные из журналов. Теперь в них не было никакого шарма, магии красоты. Все эти изображения показались мне

фальшью. Может быть, фантастическую историю с сестренкой и реинкарнацией души она сочинила. Сочинила, чтобы не привязываться к какому-либо мужчине. Так ей было удобнее жить.

Я сжег ее снимки, чтобы избавиться от старых воспоминаний. Странно, когда фотографии горели, мне чудился в пламени чей-то стон.

Хочешь верь, хочешь не верь, – завершил мой приятель рассказ и усмехнулся как-то вымученно, вышла гримаса, и рот у него вроде покривел.

Чтобы подавить волнение, я хотел было пригубить чай, но чай давно остыл.

– Может, налить по новой?

– Не стоит, – сказал я и поспешил распрощаться.

2009

Перевод Сиявуша Мамедзаде



Теона Доленджашвили

Писатель, журналист, кинорежиссер. Лауреат премии САБА в номинации «Лучший дебют года» (2006) и «Лучший роман года» (2009), конкурса Реп-марафон (2007). Рассказ «Реальные существа» признан лучшим рассказом 2010 года. Живет в Тбилиси.

Реальные существа

Для того чтобы жить, мне не хватает терпения.
Сёрен Кьеркегор

Последний раз он был здесь пятнадцать лет назад. Здесь почти ничего не изменилось после этого, та же гостиница, эвкалипты, пляжный берег озера... Здесь ничто не спешило за временем. Как будто стоит то же самое лето... Тогдашнее беззаботное лето пятнадцатилетней давности.

Возможно, именно поэтому сейчас все кажется ему скучным и бесцветным. Хотя до самого отъезда он думал иначе. В городе он как можно привлекательнее нарисовал своим домашним и песчаный берег синего озера, и когда-то проведенное там лето; без особой радости, но все-таки они согласились. В конце концов, кто платит, тот и музыку заказывает. Ну, вот он и заказал – лучший номер в гостинице. Уложил багаж, завел машину – и вот он уже здесь. Глядит на открывающийся из окна комнаты вид и сожалеет о содеянном. И понимает, что проведет здесь отвратительный отпуск. Более того, мучительный... Он почувствовал это еще до того, как увидел фасад гостиницы, выкрашенный светло-зеленой краской, до того, как разгрузил багажник, до того, как Лана устроила ему обычный концерт по поводу оставленной дома косметички, до того, как осознал, что возвращение в прошлое с пустым настоящим и усталым сердцем будет болезненным.

А сейчас он пытается рассеять это угнетающее впечатление. Выходит из комнаты и медленно идет вдоль берега... Уже неподалеку он видит отдыхающих, слышит их переплетающиеся друг с другом голоса и веселый смех. Ему не хочется видеть незнакомые и счастливые лица, и он тут же присаживается на скамью. Равнодушно кидает в озеро камешки. Чувствует себя человеком, сложившим оружие, потерявшим мужество... Может быть, причина этому – контраст между тогдашней, пятнадцатилетней давностью вольностью и гнетущей тяжестью настоящего. Может быть, это невроз жены, сжимающий горло, как собачий ошейник, не дающий свободно вздохнуть, или вообще – сам этот неменяющийся безмятежный пейзаж, который совершенно не совпадает с тобой сегодняшним; он не стареет и не опускается, в который раз подтверждая, что ничего нельзя вернуть и не вступить вторично в ту же воду того же озера. Да и в прошлом его не очень-то радовали воспоминания о проведенных здесь днях. Перелистывание тех дней чем-то

похоже на разглядывание старого альбома с фотографиями, которые давно выцвели и с которыми уже не связывает тебя ни одна эмоция, и ничто в них не привлекает: ни пейзаж, ни люди вокруг... В них только ты нравишься сам себе. Точно такой, каким был тогда, и ничего больше.

А ведь как хорошо было бы, случись там какая-то романтическая история, которую потом приукрашиваешь в памяти, пополняя все новыми и новыми деталями. В таких историях всегда бывает некая девушка... Ее лицо, забытое, но в то же время – не изменившееся, не потерявшее своих красок. Девушка, которая любила тебя, и эти места напоминали бы именно о той любви. Чуть быстрее забило бы сердце, чуть всколыхнулась бы в нем печаль, вот так примерно... Печаль, но с примесью радости... Приятная мысль о том, что, быть может, когда-нибудь та девушка опять приезжала сюда, сидела на берегу, и в ее памяти он сохранял свое неизменное место.

Но это не так, и он безжалостно выбрасывает в воду давно прошедшие дни, как камешки... Камешки быстро исчезают, оставляя на воде робкие, неясные круги, и вода снова останавливается, разглаживается, возвращая себе прежнюю гладкую безмятежность. Мика думает, что и сама жизнь человека лишь чуть колышет поверхность Бытия. Всплеск, несколько почти незаметных кругов – исчезновение навеки...

За спиной раздается звук шагов. Он не желает даже взглянуть, как будто его здесь и нет. Он хочет одиночества. Тишины... Только кто даст... Разумеется, это Лана. Успокоившаяся, лицо ее похоже на небо, только что очистившееся от туч. В кончиках пальцев – неизменная сигарета. Она без слов опускается на скамью рядом с ним, повозившись осторожно, вынимает из кармана жакета зажигалку. Такая мягкая, безобидная, словно несколько минут назад не она изливала свой бесконтрольный гнев вон на ту улитку, что тихонько ползет к озеру со своим собственным грузом, возвышающимся на спине. Мириана раздражают такие быстрые метаморфозы супруги. Именно такие радикальные изменения настроения бесят его куда больше, чем непонятные вспышки гнева. Еще более – беспричинная и непонятная веселость... Всего минуту назад Лана – настоящая буря, разрушительная, с горящими глазами, на последнем пределе крика... И в следующую же минуту она может растворить этот шквал в собственном кипении, как сахар в сиропе, и пуститься в пляс посреди той самой комнаты, где несколько секунд назад была посуда, – на этих осколках... И сейчас, как видно, собирается рассказать что-то очень веселое. Гасит на траве сигарету и раскрывает рот....

Говорит, что с балкона увидела старую подругу, Кету. Оказывается, и она здесь отдыхает. Да, та самая, которая уже несколько лет живет в Германии, с которой они болтали по скайпу. Ну, как он не помнит? Кетато, Кета! Полногрудая Кета... Обычно Мика не забывает таких женщин, но подружки жены его не интересуют. Улыбающееся лицо Ланы снова мрачнеет. Она находит, что Мику вообще не интересует ничего ее, Ланино.. А точнее, сама Лана не интересует, ни так, ни эдак, ни днем, ни ночью, ни на траве, ни в постели... А то ведь и она могла бы выкраситься в блондинку, надуть силиконом сиськи. Может, хотя бы тогда привлекла его внимание... Мика вздыхает. Видит, что начинается вторая серия... Горный воздух явно наполнил Лану новыми силами и энергией.

К счастью, наступает время обеда, и отдыхающие спешат к ресторану гостиницы. Мика швыряет зажженную сигарету в сторону озера и встает. Внимание Ланы переключается на незнакомых людей. Лане достаточно одного беглого взгляда, чтобы вынести заключение о любом человеке. Эти заключения, как правило, неизменны и незыблемы, они принимают вид окончательного приговора и обжалованию не подлежат...

Мика и его семейство усаживаются на террасе. Отсюда видно, что гостиничный контингент довольно пестр: загоревшие на озерном пляже тинейджеры, семейные пары, пенсионеры, глубоко уверовавшие в полезность горного воздуха... С террасы открывается неплохой вид, но сейчас это замечает только Мика. Лана по-прежнему занята наблюдением за другими постояльцами, Ния – сама собой, Датуна – новой игрой, обнаруженной им в телефоне Блекбери. Да так занят, что лишь временами отрывается от игры, чтобы чего-нибудь пожевать без аппетита.

Датуна и без того терпеть не может семейных трапез, застолий, ритуалов коллективной еды-питья. В это время рот наполняется едой, желудок – мусором, а сердце печалью... Он мечтает, чтобы все это поскорее закончить. Датуна вообще ненавидит все окружающее. Окружающий мир, или реальность. Ему противны живые люди, а больше всего – родители, так как они самые ближайшие и самые реальные. Он ведь каждый день видит их человеческую суть – уродство, слабость, несовершенство... Датуна на секунду поднимает голову и с тайным отвращением смотрит на разнообразные человеческие лица, движущиеся вокруг. Они думают, что чем-то отличаются друг от друга, а на самом деле все они одинаковое говно – запертые в своей ежедневности, ограниченные, смертные... Жадно глотающие свою еду, большими и

маленькими кусками, чтобы потом где-нибудь в укрытии с шумом и облегчением опорожнить переполненные животы и удовлетворенно улечься на берегу озера... Или облизывают друг друга, как собаки.

Датуну подташнивает. Нет, он – не один из них. Он – инопланетянин. Он послан сюда с особой миссией. Еще когда он был очень маленьким, он тогда догадался и задумал побег отсюда. Нет, правильнее сказать – приступил к выполнению миссии. Он там вырос, развился, приумножился... Сейчас ему тринадцать, в действительности его зовут Дэвид, и вскоре он заменит этих несчастных, выродившихся существ новыми, красивыми, совершенными людьми. Людьми, которые не будут вопить, как его мать, не будут такими расхлябанными и ничем не интересующимися, как отец, у них никогда не сморщатся лица, как у бабушки, по утрам они не будут семенить, всклокоченные, из спальни к туалету – с горшком, чуть не доверху наполненным мочой, – как его дед. Всех их Датун заменит виртуальными существами. Главное, суметь их доставить сюда. Что? Утопия? Совсем нет. Если мы можем перейти в виртуальный мир, почему бы и им не суметь перейти сюда? Это ведь непременно обратимый процесс, – так думает Датун и, часами закрывшись в своей комнате, с головой погружившись в компьютер, работает над выполнением миссии, порученной обступившими его совершенными виртуальными существами, им же самим созданными...

– Прекрасный обед, – говорит Мика.

– Да. К тому же на этом воздухе у тебя прибавится аппетит. И надо ли тебе еще поправляться? – кривит губы Лана, закуривая новую сигарету. – И десерт будет? – спрашивает Ния, прикрывая ротик рукой. Зевает. Скука здесь, но, возможно, и не такая уж, как показалось ей сначала. Озеро... Плавание, загорание и, наверное, можно будет познакомиться с парнями... Так что...

– Вот и Кета, – говорит Лана, встает и улыбается женщине, направляющейся к ней. На женщине светло-розовое платье с большим декольте, она идет между столами, покачивая бедрами, и машет Лане рукой. «И вправду, груди у нее богатые,» – думает Мика, и у него возникают самые разнообразные ассоциации: восковые женщины Мадам Тюссо, шары боулинга, сочные персики, Тинто Брасс, обильный ужин, фазаниха, талец живота.

Женщины останавливаются в самом центре террасы и манерно целуются. Мика смотрит на них и думает, что вообще встреча бывших подруг чем-то похожа на встречу боксеров на ринге: они так же рассматривают друг друга, обмениваются приветствиями, – и раздается звук гонга. И сейчас все зависит от силы ударов и их тактических ошибок,

так сказать, пропусков.

Первый раунд – Ланин. Лана знакомит подругу с Микой и подростками детьми. Кета в восторге от Ланиной семьи. Особенно от Нии, которой уже пятнадцать лет, и она действительно впечатляюще выглядит со своими длинными волосами цвета светлого меда и юным красивым телом. В отличие от Ланы, Кета поздно вышла замуж. Поэтому у нее только одна дочка, Барбара, пяти лет. Вон там сидят. Она и ее отец, муж Кеты, то есть. В зале.

– Бебе! – зовет Кета, и Мика видит маленькую светловолосую девочку. За ней следует мужчина, он ступает, покачиваясь, похожий на пропитанного ромом старого моряка... Лицо у него почти свекольного цвета, в руке бутылка с пивом... Лана сравнивает собственного мужа с «моряком» – и довольна. Очень даже довольна...

* * *

После обеда Датун закрывается в номере. Ния с быстротой иллюзиониста выбрасывает из своей сумки пестрые одежки и раскидывает их на кровати и на полу, кажется, что в комнате расположился целый цыганский табор. Наконец она выбирает белый коротенький сарафан. Потом подбирает с кровати брошенную книгу и, ступая прямо по одежде, разбросанной пестрым ковром, выходит из комнаты... Сначала она следует по ведущей к озеру аллее. Идет не спеша. Старательно жует жвачку и с непосредственностью девочки-подростка разглядывает окружающий мир. У берега расставлены бамбуковые навесы. Там же несколько бунгало. Чуть поодаль от бунгало растянуты синие удобные гамаки. Ния садится в свободный гамак, скрестив ноги, как маленький Будда, и раскрывает книгу. Через пару минут смотрит в сторону бунгало и тут же ловит несколько взглядов. Итак, западня расставлена, секундомер включен. Несколько минут – и вот уже первая жертва в силках, запуталась с руками и ногами...

Ния надувает пузырь из жвачки и щелкает им. Одновременно перелистывает книгу и одним глазом посматривает в нее. Немного погодя разглядывает в сторону жертвы. Ему, пожалуй, около сорока. Или чуть меньше. В меру упитанный, зрелый мужчина на пороге кризиса сорокалетних. Ния смотрит на него, простодушно улыбается и снова погружается в чтение. А жертва оставляет бунгало и с банкой пива в руке устраивается в гамаке близ нее. Ния ухмыляется в душе. О, как распущен этот мир! Ей только пятнадцать, но она уже так много знает. Они думают, что она маленькая, напичканная романтическими историями, как большинство ее сверстниц, сумасшедшая девчонка. Ха-ха..

Как смешно... Может, она еще не знает наверняка, чего хочет, но уж действительно знает, чего не хочет. Во всяком случае, хоть знает, как жить, чтобы не уподобиться своей матери и тысячам отчаявшихся домохозяек...

Одной ногой Ния покачивает свой гамак. Бретелька сарафана спадает с ее плечика, а увлеченная чтением, она и не замечает, как легкая ткань соскальзывает все ниже. Юная безгрешная грудь Нии до половины оголяется... А тот слизняк со своим пивом сглатывает огромный глоток слюны. Как он смотрит... Такой взрослый мужик... И не стыдно ему...

– Куда девалась Ния? – Мика только что замечает, что число желающих выкупаться в озере уменьшилось еще на одного человека.

– Она книгу взяла. Где-нибудь присела, наверное. А может, встретим ее на берегу, – отвечает Лана, стоящая перед зеркалом. Она уже сделала себе легкий макияж и сейчас пытается объективно оценить свое тело, втиснутое в купальный костюм. Она не может хорошенько рассмотреть обильно выступившие на бедрах, чуть пониже седалища, целлюлитные бугорки и думает, что вот если прикрыть распутившийся живот накидкой, да поглубже вдохнуть, и задержать дыхание, вот так...

Очень даже хорошо выглядит... Прекрасно.

– Глянь-ка на меня. Нормально? – окликает она мужа.

– Что? – спрашивает Мика.

– Да то, что на мне одето.

– Да.

Лану не удовлетворяет ответ мужа. Что значит это «да»? Надо сказать, что очень хорошо. Лучше и не бывает... Что она самая красивая, что у нее идеальное тело, и, что бы она ни надела, ей все подойдет.

– И как это на моей фигуре?

– Я же говорю, хорошо.

У Ланы уже есть повод, чтобы взорваться, но это займет много времени. А тем временем и солнце сядет, и выйдет, что сегодняшний вечер будет потерян для купания. И поэтому она временно возвращает свой гнев в сердце и раздраженно запихивает в плетеную сумку вещи – различные кремы, предназначенные для защиты ее кожи от солнца, расческу, телефон...

На берегу раскрывают зонты. Устанавливают шезлонги. Сдают в аренду лодки. Приготавливают коктейли. Короче, все и все – в ожидании их... Как видно, и Кета. Лежит на животе в шезлонге, упершись подбородком на руки, и рассматривает сквозь темные круглые стекла солнцезащитных очков всех выходящих из гостиницы в направлении к озе-

ру. Да и кого она должна так высматривать, как не давно невиденную подружку, с которой, по милости судьбы, оказалась сейчас в одной гостинице и будет загорать с нею под одним солнцем?..

Едва завидев Лану с Микой, Кета встает с шезлонга. Нет, подождите... Все не так просто... Это ведь целая акция, перформанс, коктейль из выработанных за долгие годы движений, манер, мимики... И хронометраж, расписанный по секундам и точно рассчитанный на зрителей... Прежде всего Кета, как при показе упражнения инструктором аэробики, опирается на руки, прогибаясь в спине. Рассчитанно... Медленно... Грациозно, как дикая кошка, потягивается. Постепенно становится на колени и выпячивает зад. В этой позиции раскрывается во всей полноте вид на ее великолепные и притягательные груди. К ней одновременно поворачиваются несколько голов... А Кета потихоньку выпрямляет спину, поднося руки к груди, все еще стоя на коленях в шезлонге, и с невинным улыбающимся лицом, в неведении собственной греховности становится похожей на растерявшуюся молевицу... Несравненно! И, разумеется, только ей принадлежат взгляды мужчин всея набережной! И Мика в полном восхищении, но в страхе перед женой не показывает вида.

Кета сходит с шезлонга. Слегка замедленным движением ставит сперва одну ногу, потом вторую. У нее нежные подошвы, и поэтому она стоит на песке на кончиках пальцев. Хотя она хорошо знает и то, что так она кажется и выше, и более упругой. Короче, вот такая она, что тут поделаешь... Упакованная в черный купальник, с аппетитными округлостями, в меру загоревшая...

Полный фурор, но, как настоящий профессионал, Кета делает последний, контрольный выстрел. В качестве последней детали она снимает солнцезащитные очки и кокетливо взлохмачивает волосы. Точно так, как это делает Саманта Фокс в «Спасателях «Малибу». И оказывается, помощь нужна сейчас многим. В первую очередь, Лане, которая в безнадёжном нокауте. Второй раунд за Кетой. И вчистую. С первого же удара.

Сейчас Мика смотрит на лицо жены сбоку. Понимает, что ночью по этому спокойному и безобидному месту пройдет сокрушительный шторм. Это ясно. Хотя, несмотря на это, он ощущает удивительное спокойствие. Кроме того что на протяжении многих лет он привык к таким переменам погоды и теперь они его не волнуют, сейчас ему способствуют какие-то другие обстоятельства, помогающие не испортить себе настроение. Рядом в шезлонге лежит Кета, на этот раз – на спине... Лана входит в воду, пытаясь скрыть свои эмоции или просто показы-

вая, что зато она вполне прилично плавает. Мика смотрит на зашедшую в воду жену и пытается вспомнить, когда же началась эта бесконечная серия ее истерик. Сейчас он уже думает, что супруга с самого начала была такой, и обвиняет себя лишь в том, что вовремя не прервал с ней брачные отношения и дал ей возможность родить двух детей, вырастить их и тем самым пустить такие глубокие корни в его жизнь. Хотя он хорошо знает и то, что, если бы Лана и была воплощенным демоном, это ничего не изменило бы. Жизнь с ней уже давно превратилась в ту реальность, которой нет противовеса. Как привычная болячка, которую он не станет заменять болячкой непривычной. Просто нет у него ни соответствующего терпения, ни энергии, и, что главное, нет и сил для таких перемен. Для новой драматургии. Для новой жизни.

Лана заходит в озерную глубину. Быстро плывет. «А если сейчас потонет? – думает Мика. – Скажем, прямо сейчас судорога схватит, и даже крикнуть не успеет, так пойдет ко дну. Так быстро, что и помочь ей не успеют, и пока вытащат на берег, она уже будет совсем бездыханной...» – продолжает свою мысль Мика, и его охватывает неопишное блаженство при воображении этой картины. Да и раньше он не раз задумывался о подобном. Думал, например, об автокатастрофе, в которой погибает только Лана, а остальные остаются в живых, отделавшись легкими ушибами. Думал и о пожаре – когда только Лана в доме, или об отравлении пищей, которую сама же Лана купила утром в супермаркете да и съела в одиночку. С самого начала совесть терзала его из-за этих мыслей, а потом ей стало трудно противостоять тому наслаждению, в которое приводили они Мику. И постепенно они превратились в некое сладкое, запретное, адское блаженство и затмили собой все подобные, ранее существовавшие мысли и представления. Начиная с подростковых сексуальных фантазий, с самых смелых мечтаний юности и кончая невоплощенными карьерными притязаниями.

– Не дадите ли огонька? – слышит тут Мика и видит Кету, перегнувшуюся к нему со своего шезлонга.

– Огонька? Сию минуту... – смеется Мика, нашаривая в кармане шорт зажигалку. Подносит огонь к сигарете Кеты и еще раз окидывает взглядом пп... прелести ее тела... В одной руке у Кеты сигарета, пальцами второй руки она пересыпает песок, и на лице ее двусмысленная улыбка... Сейчас Микины ассоциации обретают более конкретный вид, и в них крутятся одновременно и какой-то гостиничный номер, соблазнительные страницы «Плейбоя», быстрые всплески воды, громкий стон...

* * *

Стюард приносит пивные бутылки и кружки. Тенго опрокидывает бутылку в кружку и обхватывает ладонью ее ласкающе прохладную поверхность, словно талию женщины. Это уже четвертая. Правда, он хмелеет уже от первой кружки, но питье – это не только опьянение. Это – ритуал. Дело. Которое лучше всего делать с партнером. И поэтому сидят они сейчас так тихо, вкусно, – он и здесь же обретенный собутыльник. Приятный горный ветерок освежает разгоряченные лбы, а холодное пиво – желудок. На столе рыба, еще что-то и уже опорожненные стаканы, в которые несколько минут назад была налита чистейшая и вкуснейшая пшеничная водка.

– Лучше было с самого начала взять целую бутылку. Когда я пью по граммам, мне кажется, что эти мои подсчитывают каждый глоток, – говорит Тенго.

– И правда, давай, еще закажем, – соглашается сотрапезник и показывает стюарду на водочные стаканы, – еще по паре глоточков, если можно...

Бессмысленно смеются. Бунгало покачивается, и Тенго кажется, что он сидит здесь уже очень давно, что время замедлило свой ход, и сейчас счет идет не секунды и минуты, а на булки водки, наливаемой барменом.

Солнце садится и пока еще только нежно краснеет, а потом медленно-медленно темнеет. С набережной расходится народ. В номерах гостиницы зажигается свет. Люди готовятся к новому часу, новому занятию, к новым ритуалам. Наверное, среди них есть и люди Тенго, но как их зовут и чем они могут заниматься, Тенго сейчас не помнит, и это его не интересует...

Опять они пьют. Курят сигареты и заказывают еще по стаканчику. Бунгало колышется, как лодка, спущенная на воду озера, и Тенго думает, что бунгало – это ковчег, и уцелеют от потопа только сидящие здесь. Ощущение приятное, но вдруг вспоминается что-то и начинает его беспокоить. Это что-то мешает ему, как застрявшая в пальце заноза, словно палец только что ткнулся во что-то острое... Он напрягает память, и ему кажется, что в этом ковчеге должен быть еще кто-то, кто-то должен уцелеть вместе с ним, кто-то очень важный для него, дорогой... Но кто именно, он не может как следует вспомнить. Он отмахивается от этого непонятного «кого-то». Просто сейчас он не может ни вспомнить, ни подумать. Для этого, кроме всего прочего, он должен протрезветь. Выйти из ковчег и вернуться – в Потоп и к боли...

– Ты что-то хотел сказать? – спрашивает его второй пассажир ковчег.

– Ч-что там.. Это, ну... Да здравствуем мы... – бормочет, икая, Тенго и хватается за стакан водки, сюрреалистически зависший в подскакивающей пустоте...

А та, которую он должен спасти, сидит тут же на берегу и играет. Пятилетняя Барбара. В руке у нее палочка, и она выводит ею на песке фигурки странных животных. Несуществующих, никогда не существовавших животных. Примерно таких, которые рисуются на небе облаками. Солнце садится. Небо красное, вода в озере – все такая же синяя и лишь чуть-чуть покраснела на поверхности. Все такое красивое, и Бебе понимает вдруг, что мир круглый и большой... А она – внутри его. Так, как когда-то – зародышем в животе у мамы. Она внутри его, и с нею вместе птицы, бабочки, облака – в воздухе, муравьи и маленькие гусеницы – на земле, лягушки и рыбки – в воде. Это открытие радует Бебе, и она понимает, что не одна в этом мире. Несмотря на то, что не видно нигде ни мамы, ни папы, она все равно не одна. Темнеет, и набережная пустеет... В желтом свете бунгало пьет Тенго и думает, что он уже очень долго находится там. Так долго, что время замедлило свой ход и исчисляется оно не секундами и минутами, а глотками водки, да... А еще о том, что кого-то ему поручили. Присматривать за кем-то. Но кто это, кто? Не может припомнить и бессильно вешает голову...

* * *

Ния выходит из озера и ложится прямо на песок. Она любит купаться вот так, в сумерках. Вокруг почти никого. Приклеившийся к шезлонгу балбес не в счет. Бедняга... По-моему, он окончательно присох. Все так же сидит, не сводя с нее взгляда. А здесь же, в гостинице, наверное, его ожидает семейство, а может быть, у него вообще нет жены, и он приехал сюда отдохнуть с такими же, как он, друзьями, холостяками и неудачниками. Такие ведь не осмеливаются даже приблизиться к женщине, не то что попросить ее руки.

Ния лежит на животе и покачивает длинными голеньями. Книга и сарафан брошены поодаль. Блестящие волосы рассыпались по мокрой спине и еще детским плечам, а на уже женских и округлых ягодицах – сверкающие капли воды. Потом она поднимает голову и неторопливо переворачивается. Грудь и живот ее покрыты золотистым песком. И в крошечные бикини забрался песок. Ния садится и пытается вытащить и выбросить песок из бикини, и делает она это так по-детски, и в то же время так бесстыдно, что у того бедняги, застрявшего в возрасте Карлсона, пересыхает во рту, учащается дыхание, и на лбу выступают крупные капли пота. Ния – жестокая, жестокая девочка. Она любит играть

на чувствах людей. А что, она никогда и не любила играть с куклами. Ее развлекают только что выученные приемы. Опасные игры, выросшие из детских, инфантильных шалостей, превратившихся в женскую чувственность. К примеру, такая: выбрасывая песок, стягивает бикини и пальчиками залазит в свою пиписку. Жертва полностью обратилась в два глаза. Сейчас от него остались лишь два огромных глаза. А Ния – единственный персонаж этого театра одного актера. Она вживается в свою роль и прекрасно ее исполняет. Ведь недаром же ходила в школьный драматический кружок... И играет, и старается получить удовольствие. Пальцы ее понемногу увлажняются, и она нащупывает ими оставшуюся там, в глубине, песчинку, ощущая и сок своего собственного тела...

Зритель уже почти в параличе, он уже окончательно потерял способность даже пошевелиться. Еще немного – и с ним случится сердечный приступ. Ведь он еще пока не знает, с кем имеет дело, что, околдованный и покоренный этой маленькой Лолитой, так опустошит свои карманы, кошелек, снимет со своего счета с помощью банкомата, стоящего в фойе гостиницы, все накопленные за год деньги, так и не получив от нее ни-че-го. Но сейчас эта сцена и вправду стоит всего, даже самой жизни. И ему чудится, что этот умопомрачительный вечер и лежащая на берегу озера, закутанная в вечерний сумрак юная обнаженная сирена – лучшее в его жизни видение, греза, молнией сверкнувшая в его жизни.

* * *

Датуна спускает с кровати свои тощие ноги и водружает на нос лежащие на тумбочке очки. Шлепает к туалету. Он не выносит этих обязательных, наизусть заученных движений: капли мочи на белой блестящей поверхности унитаза, холодная вода на лице, ритмические движения зубной щетки по эмали зубов... Снаружи светит солнце. Слышны голоса отдыхающих, обильно приправленные напрасной суетой и бессмысленной болтовней друг с другом. И правда, насколько заполнена эта жизнь лишенными содержания ритуалами и неправильными делами, тогда как в его мире нет ничего лишнего. Ни в чем не ошибаешься. Делаешь только то, что важно и необходимо, – думая так, он включает ноутбук.

На экране появляются созданные в 3D-измерении цветные существа. Он должен создать еще около тысячи подобных существ. До того, пока они не смогут сами размножаться и не заменят людей. Раньше Датуна думал заменить своих близких существами с известным имиджем.

Его отец Мириан был там туповатым Микки Маусом, мама – каким-нибудь худым троллем. Или несостоявшейся бедной ведьмочкой, провалившейся на экзамене в школе волшебников. Особенно ненавидимая старшая сестричка, вечно притеснявшая брата, а потом мастерски оправдывающая себя перед родителями, она была там кровожадной вампиршей, из тех, которые только после захода солнца показывают свои отвратительные лица...

По прошествии времени Датуна понял, что реальные существа и их иконки-изображения вообще не должны существовать, и все должно было начаться сызнова, с нуля. Прямо с той точки, когда еще Бог не сотворил Адама. Ибо если он оставит хоть одну их клеточку, эта несовершенная, неполноценная человеческая природа все-таки станет доминантной над всеми остальными, даже самая малая крошка ее окрепнет, расцветет, размножится, как бактерия, и пожрет, затопит и его новый мир, как и существующий ныне.

Его, погруженного в ноутбук, отрезвляет звонок мобильного телефона. Не отрывая взгляда от экрана, он ощупью ищет телефон и, после нескольких последовательных душераздирающих звонков, ухитряется найти его и поднести к уху. С той стороны трубки раздается нервный женский голос:

– Датуна!

– Да, мама, – уныло отвечает он.

– Спускайся на озеро!

– Не хочется...

– Спускайся, а не то я выкину этот лептоп с десятого этажа!

Сразу Датуна не может понять, какой десятый этаж имеет в виду болотный тролль, разлегшийся на берегу озера, но все же выключает ноутбук и надевает валяющиеся на кровати шорты. Его бунт не выражается в неповиновении. Потому что он – не простой дешевый бунтовщик. Датуна – разрушитель целого мира, Армагеддон, который не огнем и мечом, но каунт стрейком пройдет по человечеству. Апокалипсис, который наступит именно тогда и от того, когда и от кого меньше всего будут его ожидать.

Он бредет по берегу, наклонив голову, ослепленный солнечным светом. Среди голых и движущихся кусков мяса он видит знакомые куски мяса и направляется к ним... Он и сам – такой же кусок, но бледный и почти без мяса на костях. Он снимает майку и садится под зонтом. Из все еще неразвитого детского тела торчат угловатые слабые плечи. Он закрывает глаза. В голове крутится тысяча разнообразных мыслей.

– Вода хорошая, пойдем, поплавай хоть немного, – зовет отец.

– Ладно, потом зайду, – все так же, с закрытыми глазами, отвечает он. В глазах ходят светлые круги от всепроникающего солнечного света.

– Нияаа, где мой солнцезащитный крем? – сейчас мамин голос сверлит дырку в ухе, и он недовольно морщится. Открывает глаза, поправляет очки и приступает к выполнению первого этапа миссии. Поднимает воображаемое оружие и выбирает первой мишенью сидящую чуть поодаль молодую женщину, занятую облизыванием мороженого. Палец жмет на курок. Из рук женщины выпадает мороженое и падает ей на грудь. Белая масса мороженого и кровь, полившаяся из сердца, перемешиваются, женщина переворачивается, головой утыкается в песок, и сейчас видны только ее смешно задранные толстые ноги и задница. Очко засчитывается, а Датуна уже переходит к следующей жертве, и отправляет на тот свет мужчину, деловито беседующего по мобильному телефону.

Следующий – вышедший из озера отец. До того, пока он попытается скрыть отдышку и утвердиться в фальшивом имидже здорового и спортивного мужчины, пока он не встряхнет головой по-мальчишески, разбрызгивая вокруг себя сверкающие капли воды... Потом наступает очередь разлегшейся в шезлонге матери, кожа которой, несмотря на обильно наложенные защитные кремы, некрасиво покраснела от солнечных ожогов. Ния куда-то спряталась, но ничего, куда она денется... Просто ад, эти свои люди. Свои, в первую очередь, а потом уж другие. Ад – это люди в общем и целом. Поэтому – убрать всех. Всех. Без исключения. Вот так, одного за другим... Датуна уже стреляет очередями, его смертельное оружие набирает силу и нещадно косит «куски мяса» независимо от пола и возраста. Многие даже удивиться не успевают. О том, чтобы убежать, и речи нет. Берег становится похожим на поле боя и заполняется трупами. Все окрашивается в красный цвет. Непрерывающийся немилосердный поток пуль, выходящий из безжалостной руки Датуны, легко находит даже пловцов в озере. Датуна возбужден, он в восторге. Все в его руках, и он воображает себя повелителем своего мира. Стекла очков забрызганы кровью. Дддд... Ддддд.... Вот она, настоящая жизнь! Самое настоящее и праведное дело!

Занятый смертельными делами, он вдруг чувствует на своей руке чье-то прикосновение и подпрыгивает от неожиданности. А на самом деле – ничего устрашающего. Оно больше похоже на прикосновение стебелька травы или крылышка птахи. Рядом стоит девочка лет пяти и что-то протягивает ему. Датуна медленно поворачивает свое оружие и в прицеле видит маленькую белокурую головку. Головка переходит в такую же маленькую, хорошенькую фигурку. На девочке синее платьи-

це и глядит она на него такими же синими глазами. Он может тут же снести ей полчерепушки и увеличить еще на единицу число воображаемых трупов, но... но это какой-то странный ребенок, вот... такой... непохожий на них... Датуна колеблется, потом опускает ствол к земле и спрашивает со злостью:

– Ты кто? Чего тебе?

Девочка ничего не отвечает. Только улыбается ему и протягивает маленький кулачок. Что-то зажато в нем. Наверное, это что-то только для нее и интересно, и важно. Раскрывает кулачок, и Датуна видит, что на ладонке найденные на берегу разноцветные камушки. Мокрые камушки блестят на солнце и кажутся такими... какими не являются на самом деле. Маленькая, сумасшедшая девчонка...

* * *

– Какой красивый. Спасибо. Что это за цветок?

– Георгинус Алентус... Светло-красной окраски. Растет на склонах гор. Особенно часто встречается близ озер и водохранилищ. Опыление происходит раз в году. Состоит из стебля, бутона и собственно георгина.

– Правда? Ты ботаник?

– Нет, это так... Правду сказать, понятия не имею, что это за цветок, – пожимает плечами Мика и, улыбаясь, смотрит на от души хохочущую Кету.

– А вот там... Прошу, следуйте за мной, – входит в роль Мика, – растет особый эндемический сорт, который встретите только в этих местах. Хотите, устроим небольшой ботанический тур?..

– Растет только в этих местах? Эндемический...

– Да, и к тому же несколько глубже, в лесу, – Мика берет ее за руку, – если ваша ножка провалится в землю, во время тура я могу нести вас на руках. Эта услуга входит в его стоимость.

Кета запрокидывает голову и залиvisto смеется. Мика оглядывается вокруг. Они зашли уже довольно далеко. Отсюда не видна дорога, да и голоса отдыхающих не слышны...

* * *

– Мика, ты здесь? Где ты? Открой мне! – стучит в дверь номера Лана. Никто не отвечает. В номере никого, и Лана, раздраженная, копается в сумке. Но не находит ключа. Голодная, усталая, она хочет войти в номер, выкупаться, выпить кофе... Ужасный был день. Весь день она бродила одна. Ния с утра испарилась, к полудню и Мика ушел куда-то

и больше не появлялся, а Датуна вообще не в счет, есть ли он, нет ли его... В конце концов его всосет монитор компьютера, и все, ей и так уже давно кажется, что этот мальчик появился на свет из процессора, а не из ее чрева...

И на террасе она сидела одна. Ждала официанта почти час, к тому же страшно горела кожа, все время она безуспешно пыталась отогнать оводов, прилетевших откуда-то, которым очень хотелось, чтобы она поделилась с ними мороженым, политым шоколадной глазурью. И вообще у нее нет сил выносить вид этих бунгало, растрепанных, как старые веники, и этой гостиницы, заполненной самодовольными рептилиями... Короче, все ее раздражает, действует ей на нервы... А сейчас ее особенно бесит стояние у запертой двери, безрезультатное копание в сумке в поисках ключа. Она выбрасывает на пол все вещи из сумки. Ключа нет. Лана хватается мобильник, торопливо набирает номер мужа, нетерпеливо постукивая ногой в ожидании ответа. «Мобильный телефон выключен или находится вне зоны обслуживания» – сообщают ей спокойным техническим голосом. Лана сбегает по лестнице, непрерывно набирая номер, а телефон все так же выключен. Сначала Лана собирается идти на берег и искать там мужа, потом понимает, что выпустить пары она успеет и позже, и гораздо легче сейчас же найти администратора, который в принципе стоит тут же, и Лана просит у него дубликат ключа.

Струи теплой воды немного успокаивают и снимают усталость. Но обожженная солнцем кожа все так же немилосердно горит, и чуть успокоившиеся нервы опять натянуты, как пружина, опять вздыбились щеткой, как шерсть кошки, злобно выгнувшей спину... Выйдя из ванной, она зажигает сигарету, потом снимает полотенце, становится перед зеркалом и глядит в него. Сейчас собственная внешность и ей не нравится. Шелушащаяся на плечах кожа, истончившиеся от частого окрашивания волосы и обвисшая грудь. Ветерок доносит из бунгало музыку, какие-то люди там развлекаются, смеются, любят друг друга... Или думают, что любят... А Лана чувствует, что ее время уходит, истекает... К тому же понимает, что ничего не успела, ни до чего не дотянулась, ничего не достигла для самой себя и утоления своих желаний... Чувствует, как она одинока, как не интересуется никого ни сама она, ни ее опустившаяся грудь и обожженная кожа...

Сердце у нее падает. Не понимает, почему так получилось, почему не попала она в нужное время в нужное место, или почему встретила только тех, кто не сумел оценить ее и помочь в исполнении ее желаний. Почему не были они любящими, заботливыми, добрыми к ней...

Лана не понимает. Может, потому, что может осуждать только других, и никогда не думала о том, была ли она сама такой по отношению к другим? Но ведь для Ланы и без того все понятно. И так ясно... И не хватает ей ни времени, ни терпения для того, чтобы думать, рассуждать, анализировать... Лишь необузданный гнев душит ее, со всей силой гасит она сигарету в пепельнице и еще раз набирает номер телефона супруга...

* * *

– Вайме, стрекоза! – вопит Кета. У нее сейчас ненатурально испуганное лицо, она подпрыгивает на месте, как беззащитная девочка. При этом ее груди так сотрясаются, что чуть не выпрыгивают, как кролики, из выреза платья. Возле нее тут же оказывается рыцарь – защитник от нападения самых опасных насекомых. Но насекомое уже улетело, сделал прощальный круг над их головами, и Мике остается только попытаться успокоить перепуганную спутницу...

Кета оперлась спиной о сосну, лицо ее покраснелось и дыхание участилось. Обтянутая красным лайковым сарафаном грудь так волнительно подымается и опускается... Мика чувствует, что всего через несколько секунд их ботанический тур успешно перерастет в секс-тур, и волна радостного предвкушения ударяет сначала в соответствующие клетки мозга, а затем уже опускается ниже пояса...

* * *

У Бебе маленькая ножка, и она делает маленькие шажки. А уложенные перед гостиницей плиты – большие, и Бебе никак не удастся пройти так, чтобы попасть ногой в каждую клеточку. Папа наверняка сумел бы это сделать, и они вместе пересчитали бы все плиты. Но папы здесь нет. Может, он спит в комнате или сидит где-нибудь в бунгало. И Бебе идет своей дорогой. Бебе одна. Бебе часто бывает одна. Иногда ей это нравится, иногда нет. Сейчас не нравится, и она хочет, очень хочет, чтобы кто-нибудь пришел и вместе с ней посчитал дорогу.

Бебе смотрит на прохожих. Все они выше ее и старше. Приходят, уходят, и никто не старается ходить по плиткам правильно, как она. Бебе вздыхает, поворачивается и шагает к озеру. Она не понимает, почему говорят, что вода страшная. Тогда как вода красивая, синяя, и Бебе отражается в ней, как в зеркале.

* * *

Телефон все так же отключен. Зато открывается дверь. «Явился!» – радуется Лана, но заготовленный текст застывает на губах, так как в комнату вбегает Ния.

– Ма, ты здесь?

– Я-то здесь, а вы где ходите? Где Датуна? Отца своего не видела?

– Я плавала. А ты что, не знаешь, где может быть Датуна? В компьютере...

– Мика?

– Откуда я знаю? Вы разве не собирались за покупками? – Ния выбрасывает из шкафа джинсы и майки.

– Куда??

– Да за какими-то покупками. Я его с Кетой видела, как они садились в машину, подумала, что и ты там с ними.

– Что-о-о?

– Ауу, оставь меня в покое, а, ма... – привыкшая к истерическим воплям Ланы, Ния даже на миг не останавливается, ей нужно только одно – чтобы мама хоть на секунду отстала, чтобы она успела сунуть в сумку спрятанные в сарафане деньги и убрать ее.

* * *

Мика кладет одну руку на вздымающуюся грудь Кеты, а другой обнимает ее за талию. Попавшая в его объятия Кета закрывает глаза. Где-то над их головами щебечут птицы, и Мике на секунду кажется, что губы Кеты имеют вкус сосновой смолы. Чуть горьковатый, ароматный... Это вкус солнечных полей, лесного сумрака, головокружительного взлета качелей и детства, затерявшегося где-то в ушедших годах. Мика счастлив, но всего на секунду, так как вкус этот быстро тает, бесхитростные детские воспоминания без следа, без оглядки убегают, и их сменяют совсем другие картины и жаркая волна желания... Кета стонет от страсти, у Мики от удовольствия кружится голова, он сжимает пальцами обнажившуюся грудь Кеты. Затем руки его скользят под платье Кеты...

* * *

А в голове у Ланы сейчас копошатся тысячи насекомых-кровопийц и одновременно вонзают в ее мозг множество крошечных ядовитых иголок. Трясущейся рукой она зажигает сигарету и смотрит с балкона. Изменники! Убийцы!! – непрерывно стучит в мозг, и Лана чуть не сходит с ума, уже окончательно уверенная, что муж ее предал. Бездумно изменил, и с кем... Наверное, вот так и вселяются в душу челове-

ка демоны, думает она про себя, и лучше всего понимает сейчас это странное существо, которое поселяется в ней, переворачивает все ее внутренности и просится наружу. Как в тумане видит она Нию, подошедшую к двери. А Ния уже успела спрятать в свою маленькую сумочку денежки, полученные от того фигообразного типа, натянуть новую майку и приготowiлась смыться.

– Ты куда? – собственный голос кажется Лане чужим.

– Куда, да пойду... Прогуляюсь...

– Останься здесь. Прошу тебя, – Лана не в силах даже повысить голос.

– Да ладно тебе, что мне здесь делать, ма? Я скоро приду, – Ния даже не дожидается маминого ответа, быстро хлопает дверью и сбегает по лестнице.

Ния довольна. Деньги – это самая необходимая вещь на сегодня, ей их очень легко раздобыть. Правда, до совершеннолетия она не сможет жить отдельно, но она потерпит немножко. А до того подсоберет денег, возможно, удастся и квартиру купить, машину... Она входит в бунгало, вспрыгивает на высокий табурет у барной стойки. Заказывает коктейль. Посасывая его, строит веселые рожицы бармену. Пошевеливает плечиками и всем телом в такт музыке. Красиво колышется. Сидящие за столиком напротив типы одновременно вперяют в нее взгляды. Ния смотрит в их сторону и смеется...

* * *

У Бебе новая игра – «остановилка». Такая игра, в которую можно играть в одиночку. Бебе сидит на берегу, набирает в ладошку песок и цедит его из ручки, как в песочных часах. Он высыпается медленно-медленно... Потом сжимает кулачок – и время останавливается. И сама она замирает, цепенеет. Совсем не шевелится, ни чуточки, и чувствует, как ловит вдруг какую-то особенную секунду. Как сама она кружится прямо в середине этой секунды и пытается осознать себя в этом окружающем ее мире, в его бархатистой герметической внутренности.

Время останавливается. И все и все вокруг нее останавливается вместе со временем: усталая Земля на своей орбите, заходящее Солнце на небе, рыбка в воде, нацепившаяся на крючок рыбака, мальчишки с камнями в руках, увлеченные избиением улиток, мама и толстый Микки Маус в лесу, трясущийся папа в каком-то бунгало, схватившийся за стопку водки, женщина в каком-то номере гостиницы, занятая перемалыванием своих переживаний, реальные существа на земле, и виртуальные – в голове у Датуны...

И Бебе радуется тому, что осознать – у нее есть удивительный талант.

Что она – единственная, которая это может. Что она может научить всех остальных играть в «остановилку». И если это произойдет, люди забудут о старости и смерти. Они остановятся во времени, как у светофора. Остановятся и подождут... До лучшего времени, лучшей минуты... До того времени, в котором успеют задуматься, пожалеть о чем-то, измениться...

* * *

Лана понимает, что резать вены будет очень больно, и сил для этого у нее нет. А то ведь с самого начала она именно этого хотела. Хотела причинить боль самой себе и приготовить ужасающую картину для вошедших в комнату. Но как только бритва чуть обожгла кожу, она остановилась... Сейчас она ищет другой путь, и ей вспоминается склянка с таблетками от бессонницы, брошенная в ящик тумбочки. Берет. Высыпает на ладонь таблетки и смотрит на них... Глаза наполняются слезами. Ей жаль себя. Но померкшим от злости умом она не может ничего лучшего придумать для детей и мужа, чтобы отомстить им всем... И глотает все высыпанные на ладонь таблетки.

Сидит так несколько секунд. Наслаждается картинами будущей мести. Потом встает. Берет листок бумаги и ручку и готовится написать последние, самые отчаянные, самые жестокие и убийственные слова.

* * *

И тут Мика чувствует, что в спину ему, лежащему на земле, колют иголки сосны и ели, он пытается освободиться от тяжести лежащей на нем Кеты и сесть. Хочет прийти в себя, но что-то не получается. Почему-то все как-то не так. А ведь сначала все как будто шло хорошо, он не опозорился, да и Кета оправдала его ожидания и удовлетворила их. Но на последних мгновениях что-то произошло. Как при насыщении, когда ожидаешь самого вкусного кусочка, и в это время попадаете тебе что-то невкусное и даже гадкое... Потому он и лежит сейчас какой-то разбитый, как в воду опущенный, и ему даже смотреть на себя не хочется. Но вот заснуть здесь не получается, да и никуда не денешься, что-то обязательно напомнит тебе о собственном теле и его насущных потребностях... Иголки в спину колют, по руке муравьи бегают, а полуголая Кета наваливается на тебя со всей силой и без усталости что-то лепечет.

«Ну что бы ей замолчать хоть ненадолго. Все бабы одинаковы», – уныло думает он, и ему вспоминается оставленная на берегу супруга. С ней, конечно же, ожидается ссора, скандал и буря гнева... Еще больше

скучнеет. И Кета вспоминает о Лане. Как видно, рассматривает в целом всю систему ее многочисленных недостатков. Мика злится на женское неблагородство. Теперь ему и Кету видеть не хочется. Поэтому он смотрит вверх. Смотрит на небо и слушает какую-то вечернюю птаху. «Иав, виа, крууу...» – напевает птаху. Потом меняет мотив, и Мике кажется, что птичка зовет его по имени, как будто смотрит на него и дразнит: «Ми-ка, Ми-ка, ууу... Скучный и толстый Микки Маус...»

Мика еще больше вытягивает шею и пытается увидеть птичку. Вот они, порхающие в небе птицы, – самые красивые и совершенные существа. В ветвях дерева запутались бесчисленные гнезда больших и маленьких птиц, и удивленный Мика видит, что в гнездах сидят птицы с детскими головами и дети с птичьими головами...

* * *

Бебе все так же сидит на берегу и глядит в небо. По небу проплывают облака и машут Бебе руками. Бебе думает, что, наверное, можно сесть на облако и прогуляться по небу. Как было бы хорошо... И вот Бебе как будто на облаке, как будто на небе...

Потом ей наскучивает смотреть в небо, и она начинает собирать камешки. Она собирает синие, желтые, зеленые камешки. Здесь самые красивые камешки. И на берегу есть красивые, но в воде они еще ярче и красивее. Бебе складывает найденные камешки в карманы и чувствует, как сама тяжелеет. Медленно переступает ножками. Сейчас даже самый сильный ветер не сможет ее унести. Потому что Бебе тяжелая. Бебе – земная...

Где-то квакают лягушки. Бебе очень интересно, как это лягушки удерживаются на водной поверхности. Может быть, если и она сядет на воду так смешно, по-лягушачьи, то и сама сможет... Ква-ква... Бебе смотрит в воду. Смотрит на свое сморщенное личико, и ей смешно. Понимает, что вода совсем не страшная. Бебе сейчас на воде, Бебе – водичкина...

* * *

Перед Ланой лежит лист бумаги, в руках – ручка, и она пытается написать письмо. Но первая волна отчаяния и гнева уже откатилась, и Лана с трудом подыскивает нужные слова. Выглядывает наружу. Вечереет, и комната наполняется мягким светом заходящего солнца. Ветерок приносит откуда-то запах свежерезанного арбуза, и Лана внезапно вспоминает свою арбузного цвета накидку. Ее красивейшую накидку фирмы Гуччи! Ищет... В шкафу ее нет. В сумке нет... Как обидно... Разумеется, осталась на берегу...

Тем временем вся злость почти совсем уходит, рассеивается и Лана видит лежащую на тумбочке склянку от лекарства. «Кажется, я слишком много их выпила», – думает она, почти испугавшись. Наверное, лучше промыть желудок или вообще позвонить врачу...

По внутреннему телефону набирает номер администратора и вызывает врача. Затем смотрит на лежащий перед ней листок и вяло пытается вспомнить, что должна была написать членам семейства в прощальном письме. «На берегу осталась моя накидка», – пишет она. Глубоко вздыхает, опускается в кресло и поджимает ноги, как усталая журавушка.

* * *

Вечера Тенго похожи друг на друга как близняшки. Вернее, это они так считают, что с ним ничего не происходит. А на самом деле сердце его переполнено тысячей разных мыслей. Тысячей мыслей, заботами, приключениями. И он пытается с помощью выпивки пережить все это, одолеть или быть побежденным... Уже не говоря ни о чем больше, легко ли каждый вечер сидеть в ковчеге и ожидать неизбежного потопа. Тенго опорожняет стакан за стаканом и смотрит в себя помутившимися глазами. Погружаясь в выпивку, события идут ко дну, и их острые, режущие душу края тупеют. Ковчег качается, качается, как колыбель... Тенго закрывает глаза и спокойно дремлет. Как хорошо, когда всякая боль притупляется, все потопа завершены и все, что должно было произойти, произошло...

Тенго дремлет, и сейчас у него останавливается время, но только у него. Все остальное по-прежнему вертится, все так же движется, и его Барбара все ходит, ходит, переступая маленькими ножками с камня на камень. Озеро становится глубже, хотя камешки все-таки видны.

И как удивительно... Бебе видит самый красивый камешек на всем этом берегу и, наверное, во всем мире. Самый прекрасный, гладкий, сверкающий камень. Именно такой, какой понравился бы тому всегда грустному очкастому мальчику. Бебе очень хочет дотянуться до этого камня и обрадовать печального мальчика. Заставить его улыбнуться. Наверное, она легко достанет этот камешек. Если немножко глубже погрузит руку, достанет... Бебе нагибается, и в воде опять видно ее сморщенное личико. Бебе тянет руку ко дну. Вода покрывается рябью, и ее лицо пропадает. Ведь вода – не зеркало, и поэтому... И правда, вода не зеркало. Вода глубока. Но зато вода теплая, камни – красивые. Небо – синее. Земля – зеленая. И Бебе счастлива. Бебе везде... Бебе – всехняя...



Родился в 1961 году. Поэт, эссеист, переводчик. Автор многих поэтических сборников. Главный редактор литературного журнала «Чинар».

Живет в Баку.

1. У врат любви

пираты обожали корабли, в душе трепещет парус флибустьера. но поезд мой несется все быстрее, являя лик Полонии– земли. деревья-пилигримы в снежных ризах, и шляхтич-студ охлестывает твердь. пыхтят автомобили в антифризах, простуженным пернатым не запеть. забылись сном сосульки ледяные, поблескивает на костеле крест. окутались в пергамент дни былые, и ратный отзвук чудится окрест. Полония открыла двери гостю, в очах людей – достоинство и лад. красот не счесть, хоть сыпь их полной горстью, и с древних замков рыцари глядят. я не нойон из Золотой Орды, в душе моей иной пыл покоренья. любви богиня – Красапани, ты зовешь меня, как к цели поклоненья. слова любви в устах с улыбкой алой, в снегах холодных всходят зеленыя... и на перронах старого вокзала, божественная встреча ждет меня

2. Вокзал волнения

ожидание жгло и тепло потекло, мороз-приставала отстал, и поезд вонзился в гудящий вокзал. манто меховое в искринках седых, ты издали машешь озябшей рукой, так прост и понятен жестов язык, витающий над незнакомой толпой. мгновения медленно мелют тоску, я половец вольный, я скорость люблю, примчался галопом я из Баку, в румяную зимнюю вашу зарю. и ты уже близко, а время беспечно, плетется и словно перечит судьбе. мгновения длятся, минуты – как вечность, о, Анна, о панна, спешу я к тебе.

3. Тонюсенький вальс

камин горит отлично, античность, старина. и свечи романтичны, и ваша снедь вкусна. а за окном балдеет, куражится зима, и на глазах редет, седеет полутьма. забыто быта бремя, и музыка слышна. остановилось время, налей еще вина. откалывают пары, – американский стиль. а я, со школьной парты, Огинского любил. подайся ближе, Анна, от «мини» жди беды... тонюсенькие панны, от танцев ли худы?...

4. Любовь и лира

читаем стихи. Вспоминаем, ты шепчешь Мицкевича мне, он и у нас почитаем, и я разумею вполне. поэзия – к сердцу дорога, и я стихотворец Востока, читаю газель Физули, поэта далекой земли. «прекрасная музыка в них» – из уст я слышал твоих. поэзия высшего рода, понятна и без перевода. пока есть поэзия в мире, любовь будет править людьми. чему отдать первенство – лире, любви, или гимнам любви...

5. Ритуальный пляс

все мило, легко, упоительно, вино гоячит неспроста, и музыка льется медлительно, и жгут поцелуи уста. на улице вьется метелица, откуда же этот огонь? саванна на телеке стелется, там царствует львиный закон. страсть рвется, клокочет и мечется, и мы как в магнитном плену. любовь, гегемон человечества, нет разницы – к слову вверну, будь Красапани или Мехри Бану*. тьма в пламени свечек вьюжится, вершим ритуальный пляс. и в вечном объятии кружится, огонь вулканический в нас.

*Красапани, Мехри Бану – богини любви в западнославянской и тюркской мифологии

6. Страсти по Красапани

мать Иисуса, – ты щепчешь – богоматерь, с иконы устремила кроткий взгляд, дарительница Божьей благодати, вселяющая в души мир и лад. с высот небесных осени, Мадонна, детей земли, пустынь, долин и гор. будь это сын отчизны полуденной, или сын Изиды, освященный Гор. свечу затеплю в честь прекрасной Анны, прости меня, и не вмени в вину, молю ее, богиню – Красапани как в древности молил Мехри Бану.

7. Астральный урожай

снег, снег, всюду снег, голые деревья, шумные автокочевья, монастырь, задохнувшийся гарью, звездочка влетевшая в твой смех, напомнила далекий век, когда домчались пра-

щуры мои, оставив за спиной бои, до самого далекого улуса, до Кракова седого самого, тевтонов, бравой конницей тесня, Полонии красавиц полоня, и астры звезды упали в губы чтоб расцвели улыбкой не улыбки. качается светило в люлке туч, виденья тают в белых лапах сосен, и я собираю урожай астральный с губ твоих....

8. Прогулка с виденьем

снотворное не действует никак, и всякие виденья предо мною. теперь всеобща земли королей, и все для всех, ничье – и все, и вся. леса ничьи, и воздух – задарма, налоги сносны, сборщики цивильны. парламенты подобны говорильни, мечту людей съедает кутерьма. вот парк, дерев задумавшихся круг, куда ни кинь, следы баталий ратных. реликты войны – железные осколки, и синема возносит ратный дух. но не вернется снова старина, не вырастут расплавленные крылья. любовь была всевышним нам дана, теперь находят в сайтах без усилия. она и он играют роль машин, как биоробот с видом троглодита, явись, молю, взываю, Афродита, пусть возродится род людской. Аминь

9. На монастырском цвинтаре

истают льды... и воды испарятся, земля хранит надежнее гроба. на старом монастырском цвинтаре, почивают в мире мощи, черепа. усопшие, окутанные мраком, а видят ли их души – кто поймет, родители смешавшиеся с прахом, рожденным ими продолжать их род. день нов как снег, стары седые камки, молитвы въелись в мерзлые кресты. наслушалась округа звонов медных, и грай вороний слышен с высоты.

10. Аве, Изида

сегодня ничего не лезет в голову, ни Ядвига, ни Ягайло, ни Бжежинский, ни Огайо, ни даже сам султан Селим, предо мной плывет стеной, играющий орган, над ним хористки исполняют гимны божественной Изиды, во славу Озириса, пятитысячилетней давности, и в католической от явности, не потерявшей величавости монашек выглаженных голоса, напоминают хор ангелов, приветствующих солнце, залившее зарею небеса. их пение сродни сметаниям Захры, оплакивающей Гусейна, шехида Кербалы. орган хорош, орган вулкан, в глазах людей от слез туман, и даже сфинкс – бездушный монстр, впитавший желчный жар пустынь, вняв воплям плачущих богинь, слезу б пустил, и эта песнь, и этот плач, досель волнующий сердца, продлится вечно, без конца. умрет Озирис и воскреснет, народу явится Христос, и овдовеют жены вновь, любимых будут распинать и кожу будут с них сдирать, чтобы потом казнится вновь, по убиенным причитать и слезы дружно утирать. люди, Анна, ведут себя странно, убивают и убиваются, убиваясь, упиваются и слезами заливаются. страсти тают, забываются. Аве Изида, Аве Мария, Аве Мехри Бану!..

11. Рыболовля

рыболовы прорубают лед, подо льдом бобер живет. проникает белый свет, сквозь прорву, иль нет. такова наша жизнь, Анна, выглядеть стремимся сквозь ухо ледяное, а оно глухо. колокольный звон летит воздух раздирая, кружит в небе ворон стая словно хлопья тая. рыболовные восторги снова, нарушают тишину клева. полюбил твою страну я, Полонию, от улыбки твоей в полоне я. здесь все вольное, как ты, от роду, и земля твоя, как ты, гордая. вы воинственный народ, панночка. мне с тобой ли воевать, Анночка. не сродни ль любовь войне, кохана, будишь покорителя во мне, в Эльхане.

12. Как заманчива погода

ты не мни ночь неприглядной, неприглядной не считай. в ее прорве необъятной, брезжит россыпь звездных стай. ночь забылась сном тягучим, хор подвипивших парней. мои руки по-паучьи ткнут перчатку для твоей. друг за другом окна гаснут, кошка грезит очагом. мир напоминает сказку, или мы из сказки в нем. я дитя молитв восточных, чуждых бога твоего. вирус страсти – он безбожник, нет управы на него. веет стужа, но – надгаем, и дрожмя дрожат деревья. ты будь Гердой, а я Каем, Висла – Снежной Королевой. как заманчива погода, ветер ластится к стене. погулять с тобой охота, на безбашенной волне.

13. Серенада

вечер долгожданный, вечер полупьян. ты ли Донна Анна, я ли Дон Жуан. ресторан танцует, всюду ритмов власть. смехом серебристым, лакомится страсть. мне на стол перчатку, бросил ветер, смел. и пошел в присядку, не у дел дуэль. а в угаре бара, дух корриды, раж. сыпь, моя гитара, золотая блажь. огненные ласки, словно бой быков, завереньем пляски, трудится альков.

14. Краковская ночь

Анна Мария, аморе мия, ночь – лампиония, улиц бессонная, ливень рекламный, огненно пламенный, толпы сомнабулы, тени качаются, видно дерябнули, жизнь не кончается. витрины – смотрины, красна подсведка, вперед мужчины, крутись рулетка. рев в дискотеке, танцы в разгаре, гул в кабаре, скрипка пикирует в плотской игре. эрос хихикает, люди любые, вот голубые. надо же, гей же... есть еще гейши, длинные патлы, голый зад. хоть стой, хоть падай, «авангард». сутенер – плут, клиент – жмот, но этот труд, шиком слывет. кто бросит камень в грешницу ту, панель руками машет Христу. ах что же ты Краков, дожил до седины, из каменных злаков глядит кокаин. страстей заморочка, где путь бытия. пойдем моя девочка, Венера моя.

15. Краковяк

хоть нагрузка для оркестра, «краковяк» шпарь пан маэстро. инструменты дружно грянут, души сразу и воспрянут. разгуляйся Краковяк, шаг за шагом, так, так, так. шарк ногою, шарк другой, ты да я, да мы с тобой. закружились, полетели, завертелись в карусели, полетели, приземлились, и ничуть не притомились. и в присядку, и в раскачку, впали, что ли все в горячку. жарь меня, жарь меня, чур меня от чар меня. ты полячка, я кипчак, пыл воинственный в очах. что ль, сразимся на мечях, пусть звенят шиты, мечи, кони скачут, горячи. и как бы под бодуном, ноги ходят ходуном. трубы, бубны, голоса, белогрудая краса. руки льются, пыл размяк, «Краковяк».

16. Дуэт*

в ночных беседах есть зашифрованная магия, а в ночных рубашках – печальный полонез. и каждый раз, когда срабатывает счетчик твоей наготы, зигзаги летучих мышей кроют платья во мгле. шепоты-всадники ослабляют поводья, а лианы страстей обнимаются, молчаливый рояль со звездной улыбкой, на пальчиках ласк играет блюз. в заветах любви нет места для спящих, на нас смотрит икона с запретным взором. наш дуэт начинает свой соло-концерт, закончив псалмы молящихся губ. *Перевод автора

17. Зимняя сказка

беленкие бабочки падают на шлях, голые деревья в снеговых мехах. в белой круговерти поседела ночь, наливай, я горло промочить не прочь. что нам непогода, вроде трын-травы, не уймут морозы пламени в крови. вылетает время под шафе в трубу, ночь напоминает снежную волшбу. в одиноком мраке город опустел, выглядит соблазном теплая постель. как мираж в пустыне, божья благодать, может быть, довольно праздно ворковать. я боюсь развеять сказочный мираж, помолчи немного. Я прошу. Уважь.

18. Прощальная мазурка

в ералаше отеля – ликер и Шопен, ночь при свете свечи раздевается. на увядших губах заснувших цветов золотая улыбка прозревается. да, прекрасна Полония, прекрасна и ты, и маячит над нами тень расставанья. прощальные ласки пропахли вином, и мазурка вскипает, как возглас прощанья. этот танец не чин католических служб, бесконечен азарт ритуальных объятий. папа Римский уже не поляк, а другой и мы из паствы богохульных занятий. ты однажды вспомнила выстрел Агджи, что понтифика чуть ли не довел до могилы. папа милость свою явил по христиански, но турки его не простили. ...а вокрук Вавилона стрельба и бои, и взрывают себя обреченно шехи-

ды. но, признаться, политика не про меня, о конях, может лучше, речь заведи ты. а кочевья осели в далеких стенах, табуны затолкали в закуты, в загоны, этот век затерялся в триумфальных крестах, и ракеты диктуют планете законы. любишь ли скачки, бега – ты скажи, замирало ли сердце в азартном тумане. есть кипчакское нечто в улыбке твоей, поцелуи пропахли полынью, о пани. посещая костел, поклонись за меня, у заступнице нашей любви попроси. и поставь ты свечу пред святым алтарем, и в молитвах своих дай кумыс ей вкушать. я полынный степняк, в путь дорогу пора, самолеты быстры, мир большой ипподром. ты в Баку за скачки в заезде своем, там молитвы скорее услышатся небом. и звезда наша – восьмилучистая, и любовь наша – пречистая, род людской под правлением богини любви, будь она Красапани иль Мехри Бану.!!!



Шота Иаташвили

Нодился в 1966 году. Автор 14 поэтических и прозаических книг, а также сборников критических статей и переводов. Перевел произведения американских поэтов, эссеистику С. Зонтаг, а также современных русских поэтов Д. Пригова, Б. Херсонского, А. Алехина, А. Анашевича и других.

Его произведения переведены на 15 языков. Лауреат премии «САБА» (2007 и 2011) и «Киевские лавры» (2009). Редактор издательства Центра культурных взаимосвязей «Кавказский дом».

Живет в Тбилиси.

Выучи меня наизусть

Выучи меня наизусть,
После ложись и усни.
А утром, проснувшись,
Прошу, повтори.

Лежа рядом с тобой,
Сладко уснув,
Я вижу тебя во сне склоненной
Над моей головой и бормочущей что-то.
Увижу, как ты
Обо мне звездам расскажешь
И длинным деревьям, как ты
Станешь сдавать предмет
По имени “Шота”
Каждому встречному.

Учи меня каждую ночь,
После усни или бодрствуй,
А утром
Сдай меня людям, вещам,
Молитве,
Траве.

Возможно, я стих,
Человек
Или вовсе бамбук.

Учи меня наизусть.
Иль вызубри просто.

* * *

Прижал к груди, да растаяла –
поскольку снегом была.
Спрятал, да выползла плесень –
хлебом была.
Снял кожуру, да плакать заставила –
луком, луком была!
До мельчайших частиц измельчил, да
целой осталась –
да, Изидой была.
Поджег беспощадно, да не сгорела –
банально: рукописью была.
Переделал, да не переделалась –
воистину: диким орехом была.
Вдаль запустил, да вернулась –
что другое еще: бумерангом была.
Убил, да оказался между листьями на-
стоящей книги –
гербария редким листком была.
Я пригляделся, да, думал, женщина –
поскольку всякой была.

Ветер веял и нес женщину.
 Женщина летела, а мужчина следовал за ней.
 Мужчина бежал, а за ним – его друзья.
 Друзья шли, и стояла пивная.
 Стояла пивная, а пиво прокисло.
 Пиво прокисло, а трактирщик старел.
 Трактирщик старел, у него выпадали волосы.
 Падали волосы, и падали бомбы.
 Падали бомбы, и рушились дома.
 Рушились дома, и строилась новая пивная.
 Новая пивная строилась, и шли новые друзья.
 Шли новые друзья, и бежал новый мужчина.
 Новый мужчина бежал, и новую женщину нес ветер.
 Новую женщину нес ветер, и веял старый ветер.
 Старый ветер веял, и крутились ветряные мельницы.
 Крутились ветряные мельницы, и родился Дон Кихот.
 Дон Кихот родился, а Сервантес умирал.
 Умирал Сервантес, и умирал Шекспир.
 То есть было 23 апреля 1616 года, и
 литература скорбела, а Бог смеялся.
 Бог смеялся, а иногда смеялся и мужчина.
 Мужчина смеялся и пил пиво.
 Или наоборот: сначала пил пиво, затем – смеялся.
 А затем плакал.
 Потом он вставал и, шатаясь, шел за женщиной.
 Женщина бежала в хвосте у ветра.
 Ветер веял и пытался нагнать луч света.
 Мужчина стоял и наблюдал за их игрой в ловитки.
 Мужчина иногда был физиком,
 иногда поэтом,
 иногда пьяницей.
 Мужчина часто заходил в пивную.
 И прежде чем пиво прокиснет, а трактирщик – постареет,
 пил пиво и беседовал с друзьями,
 а Бог смеялся,
 Бог смеялся...

И ветер веял...

Он полетел первый раз и –
 Удачно –
 Восславили, преклонились, благословили.
 Во второй раз полетел он и –
 Снова удачно –
 Приняли, не пожалели воды и хлеба,
 Дали расческу для крыльев.
 В третий раз полетел он и –
 Тоже неплохо –
 Смирились, привыкли.
 Он в четвертый раз полетел, но –
 Напрасно –
 Нарекли дурным подражателем ангела.
 Но и в пятый раз – все равно – полетел он и –
 Выстрелили,
 Сбили.

* * *

Рыл землю, и –
«Почему вредишь небу?» – упрекнули меня.
Взлетел в небо, и –
«Сколько можно копать в земле?» – пристыдили меня.
Пошел на север, и –
задохнулся от жары.
Пошел на юг, и –
продрог.
Пошел на запад, и –
Натолкнулся на людей в чалмах.
Пошел на восток, и –
Утонул в демократии.
Даже не шевельнулся, и –
«Почему не можешь оставаться на одном месте?!» – спросили раздра-
женно.
Полюбил, и –
Возненавидели.
Возненавидел, и –
Полюбили.

Все стало на свои места.

Перевод с грузинского Елены Зейферт



Родился в 1948 году. Автор 23 книг, в том числе для детей. Руководитель Союза писателей Южной Осетии и преподаватель истории литературы Юго-Осетинского государственного университета. Живет в Цхинвале.

Деньги у меня были. Не могу сказать: более, чем было нужно. Может быть, их было даже меньше, чем мои неизбежные нужды. Но, должен признаться, у меня от негодования даже зубы начинают потеть, когда вижу людей, кои вышагивают по улицам, внимая ласковому шелесту своей одежды и задевая задранной головой высокие облака; кои бросают продавцу денежные купюры с княжеской небрежностью и сытым присловьем – «Мелочи не жду!..»; кои возводят блестящие хоромы, заваливают их коврами, но никогда не задевают ковровую мягкость обухом каблука; свои дни проводят собачей жизнью в конурах, прирастая к стене своего дворца.

Говорю это не ради красного словца и не к тому, чтобы люди думали: на свою совесть и пылинке не дают осесть. Правда, и завидовать им как-то в голову не приходило. Знаю, денежный клад что дохлый осел – если один волк вырвет большой кусок, то другие угрюмо будут прислушиваться к бурчанию своих желудков...

Об этом не думал еще и потому, что теперь у меня завелись деньги. И достаточно для кружения бедняцкой головы, а также для того, чтобы недолгое время пожить с задранной головой. За трехгодичный труд получил не малую мзду. Правда, голова моя еще не закружилась, но душа ликovala и вопрошала: зачем мне столько денег привалило?!

Не хотелось мне спорить с самим собой. Не хотелось долго и серьезно размышлять, не хотелось лишать свое сердце ясной и доброй отрады. Мне было легко и весело. Я был веселым и всесильным. Утром прошел вблизи обжигающей влаги и голова слегка кружилась. И я, хоть и не убеждал себя, но в душе был уверен, что если даже в мой набитый карман ударит пушечный снаряд, все равно и он не сможет вырвать с моего тела хотя бы один слабенький волосок.

И это меня радовало и смешило страшно!

К тому же заранее видел воочию: мои «друзья», с их деланной улыбкой, еле живые от зависти, напряженно наблюдают за полетом зеленых пташек с моей ладони. Они, как мошенники, с дальних времен мое достоинство мерили тем, что имелось в моих карманах. И я от души над ними, бедолагами, весело смеялся. Да к тому же и шофер оказался мешком, набитым по завязку смешными хабарами.

Машина вольно и стремительно неслась вперед.

И вдруг в сердце ударил и разорвал его резкий и пронзительный скрежет машины... И оглушил меня женский визг...

Машина резко развернулась. Я ударился головой по лобовому стеклу, но, к моему счастью оно не разбилось, лишь горестно усмехнулось.

Правда, голова моя закружилась мельничным колесом. Но когда головокруженье застопорилось, то первое, что заметили мои глаза, – это испуганное лицо женщины. Свет ее глаз, словно прожектор, прямо вцепился в нашу машину с обочины дороги. И вслед за тем женщина, словно ветвистое дерево, распластав руки, вывалилась, перевернулась и заполнила весь путь перед машиной.

Люди вдруг густой толпой заняли всю дорогу и суетились, сновали туда-сюда испуганно и молча. Крайние вытягивали шеи, чтобы увидеть то, что собрало людей вокруг себя. Сейчас вспоминаю, выскочил я из машины, словно обезумев, и, расталкивая людей руками, пробрался к самой середине толпы...

Женщина моего возраста, видно было, еще цеплявшаяся зубами за свою уходящую молодость, лежала навзничь на твердом асфальте недвижно. Голова склонилась к правому плечу. По поцарапанной, но красивой щеке стекала тонкой струйкой кровь с уголка губ. Кто-то из толпы прикрыл оголившиеся колени женщины полами старомодного пальто. И все равно видно, что капроновый чулок у колена чья-то беззаботная рука зашила-заштопала небрежной строчкой.

Мое сердце зарыдало, застучало по реберной стенке. Недавно еще осиянная радостью душа заныла, словно прихваченная зимней стужей. Мои испуганные глаза вновь бросились к лицу женщины, к невероятно рано увядшему лицу, к лицу, покинутому надеждой на счастье и заведную судьбу...

– Ты же видел, да?! Своими глазами видел! Сама бросилась под машину! Руль резко повернул, все равно задел ее...

Прислонился водитель к моему плечу. Слезы льются по щекам. А я...

Еще пару лет тому назад жил в наемной комнате.

У моего хозяина снимала комнату еще одна семья: отец, мать и единственная дочь-наследница.

Отец – пожилой, молчаливый мужчина. Руки его, словно приросли к карманам длиннополого пиджака, всегда были наглухо упрятаны в карманах и прижаты к впалым бокам вдоль тощего живота. Ранним утром каждый божий день согбенно и торопливо шагал на работу. А вечерами возвращался с буханкой хлеба свежей печки под мышкой.

Мать – женщина среднего роста, никогда не знавшая полноты, значительно моложе супруга. Красотой не отличалась, вряд ли кто ей вслед посмотрел когда-либо оглядкой через плечо при случайной встрече. Видно было, что живет бедно, что деньги у нее никогда и не водились, убогий наряд ее молча об этом свидетельствовал. Правда, свою бедность она как бы одолевала умением складно и ласково тараторить.

И когда ее голенастая, молоденькая дочь-наследница в сверхмодном платье, на высоких каблуках, чему-то улыбаясь, устремлялась в городской центр, то мать обычно провожала ее до околицы с нескрываемой радостью. И если встретится с кем из соседок, то обязательно остановит, бывало, ее и уже не может остановиться, нахваливая свою дочку, словно избранницу Богову...

– Моя доченька, свет моих очей, пошла к подружке. Вместе готовятся к экзаменам в институт, и ничем мы, матери, помочь им не можем, но слава Богу!..

– А нигде еще не работает?..

– Что вы, что вы?! Лучше мне умереть, чем дочку на работу устраивать. Что я, без заработанных ее копеек не смогу прожить? Да лучше мне с голоду умереть, чем на такое согласиться. Моя дочка-наследница должна цвести среди своих ровесниц. И большое образование должна получить!..

Я давно уже выселился из этого дома. Город наш не большой, но своих тогдашних соседей с той поры не приходилось встречать. Правда, через некоторое время однажды попал на свадьбу... Это было поздней осенью, в ту пору, когда в горах стынть дождевых капель пронизывает до костей. Холодный дождь заполнил всю округу. И молодые люди захватили самую просторную комнату в доме. Мыши, как говорится, негде было шевельнуть хвостиком. И это не красноречивое преувеличение. Под ногами толпы молодых и неугомонных глухо стонал истоптанный и заляпанный грязью ковер. Молодые стали яростно танцевать в нартовском симде. Правда, это был не нартовский танец, а что-то невообразимое. Девушки и парни стали в какой-то тесный круг локоть к локтю и так в три кольца выводили какие-то движения ногами, прижавшись друг к другу плечами. И лишь в центре третьего, самого узкого круга посчастливилось танцевать трем парам, да и тем в страшной тесноте.

Кое-кого из танцующих я знал. Все были в приподнятом духе и во всеобщем азарте. И никто меня даже не спросил, хочу ли я войти в круг этих вошедших в раж танцоров. Схватили меня за руки и потащили вовнутрь. После второго круга взяла меня в охапку одна красавица высокого роста и втиснула в центр третьего круга – там резвились самые-самые счастливые на этой свадьбе. Красавица распоряжалась мной бесцеремонно и я заметил в ленивом блеске ее зениц, в розовой тени ее щек присутствие духа горячительной влаги. И этот дух придавал ей смелости и отваги.

Я не мог понять, что за танец, в коем кружились молодые затейники

свадьбы. Не осетинский танец и не шейк. И не успел я толком подумать – так как в тесноте и неумолчной гомони ничего не мог сообразить – как мои глаза шепнули мне, что девушка, властно повелевавшая вести себя в избранном ею стиле, знакома мне. И я быстро сообразил, что она – давняя моя соседка по наемной квартире, Хангуасса. Она была по-прежнему красивой. Правда, талия заметно округлилась, щеки чуть-чуть как будто припухли.

«Вышла замуж...» – не успел заключить свое наблюдение в слова, как она сунула руку в карман по последней моде сшитого пиджака, и мой слух едва уловил в невероятном хоре громкой музыки, в бурном хохоте веселых молодых и молодых хруст совершенно новеньких денежных купюр. Едва успел заметить как вспорхнули с ладони Хангуассы красные бумажные птицы и упали к ногам гармонистов.

Мне стало не по себе: ведь для гармониста Осетии не было большего позора, чем согласие играть за деньги. Такое предложение вызвало бы кровавую ссору. Было бы еще более невыносимым оскорблением, если бы деньги предложила женщина!..

Видимо, мое замешательство ясно выразилось на моем лице. И заметил его сын нашего щедрого хозяина. Он взял меня сильной рукой за локоть левой руки и предупредил танцующих:

– Мне очень нужен в сию минуту мой гость!

Я, уходя, оглянулся. Музыканты явно повысили темп игры, были вновь воодушевлены, видать, полетом красных птиц с ладони Хангуассы...

Не успел я тогда даже задать себе вопрос: откуда у нее эти птицы перелетные, в какой масляной реке купается ее муж?.. Меня усадили за стол свадебный, и тут уже было не до праздных размышлений. Обычай застолья осетинского навязал свой ход и свои песни...

Теперь же страшная беда, случившаяся перед моими глазами, заставила вспомнить тогдашнюю Хангуассу, лицо избалованной жизнью красавицы. Она никак вязалась с тем, что ныне ее колени прикрыты полами сшитого по моде, но уже изношенного пальто, а рваный чулок защит крупной строчкой... Я замешкался, увидев ее окровавленное красивое лицо. Сердце захлестнула жалость, но, опомнившись, крикнул:

– Машину!.. В больницу!..

– В сию минуту! – встрепнулся перепуганный шофер.

Хангуассу поднял я на руках и, видимо, заныли ушибы на ее теле, она застонала, потом с трудом, медленно открыла свои большие черные глаза.

– Помоги мне! – сказала и ладонь слабой руки опустила на мое плечо.

Только в больнице обратил я внимание на ее поношенные туфли на

низких каблуках. Заметил, что к ним были приклеены резиновые пластинки, чтобы стали выше. Мне не казалось, что эти резиновые наклейки лишили их изящества.

Вспомнилось мне, как горделиво, выделяясь особенно своим изящным станом, она шагала по улице когда-то, и сколько раз тайком смотрел за ней; как с ее ладони взлетали красные птахи и устремлялись к развеселым гармонистам. Вспомнил и то, что минут десять тому назад и я цвел-расцветал весенним шиповником, воодушевленный туго набитым карманом...

Сердце от чего-то зануло и похолодело. Деньги в моем кармане вмиг превратились в спящих гадюк. Проснулись в одночасье, зашевелились и стали грызть мое сердце ядовитыми зубами.

И кинулся к врачу с искренними мольбами.

– Если хорошенько присмотреть за ней... Если будут необходимые лекарства... Правда, они очень дорогие... – доктор испытующе оглянул меня – не вздрогну ли я от упомянутой дороговизны лекарств. Хотя и не спросил меня, кто я для нее?

Карман мой зашевелился, словно отдельное существо, неприятное для меня. И мне мучительно захотелось отмежеваться от него... от моего кармана!.. И, видимо, все это выразилось опять на моем лице.

Тут же преобразилось и лицо врача. Оно стало угрюмо мрачным. Брови нахмурились. К тому же полнота придавала лицу какой-то злоедающий вид. Видимо, он решил, что молва о деньгах испугала меня.

– Постараемся, – лениво, нехотя добавил он еще к своим намерениям. Голос был холодным. Холодным и тягостным. От прежнего, сулившего надежду, тембра не осталось и следа.

Сердце мое испуганно задрожало: не лишает ли меня надежды сей муж?.. Испугался я и схватил его за локоть левой рукой, а правая рука стала шарить по карману брюк и потом потянулась к белому халату врача. И глаз врача тотчас же прикипел к моей дрожащей руке, полной бумажками цвета зеленой травы.

– Доктор...

– Не беспокойся. Все будет в порядке! Вот увидишь!..

В глазах врача блеснуло удовлетворение, в голосе вновь зазвенела чудо-надежда! Он мне казался всемогущим.

Удирал я из больницы, словно насмерть испуганный вор. Мой карман прилепился к моему телу и ласково дотрагивался к моему израненному сердцу, покрывая его чудо-лекарством – медвежьим жиром. И все равно меня тянуло к теневой стороне улицы. От стыда горело у меня лицо, и я прятал его от прохожих. Горело и от того, что я из своего кармана

всех гадюк переместил в карман врача. И горит мое лицо и подумать, так как в тесноте и неумолчной гомони ничего не мог сообразить, как мои глаза шепнули мне, что девушка, властно повелевавшая вести себя в избранном ею стиле, знакома мне. И я быстро сообразил, что она – давняя моя соседка по наемной квартире, Хангуасса. Она была по-прежнему красивой. Правда, талия заметно округлилась, щеки чуть-чуть как будто припухли.

«Вышла замуж...» – не успел заключить свое наблюдение в слова, как она сунула руку в карман по последней моде сшитого пиджака и мой слух едва уловил в невероятном хоре громкой музыки, в бурном хохоте веселых молодниц и молодцов хруст совершенно новеньких денежных купюр. Едва успел заметить как вспорхнули с ладони Хангуассы красные бумажные птицы и упали к ногам гармонистов.

Мне стало не по себе: ведь для гармониста Осетии не было большего позора, чем согласие играть за деньги. Такое предложение вызвало бы кровавую ссору. Было бы еще более невыносимым оскорблением, если бы деньги предложила женщина!..

Видимо, мое замешательство ясно выразилось на моем лице. И заметил его сын нашего щедрого хозяина. Он взял меня сильной рукой за локоть левой руки и предупредил танцующих:

– Мне очень нужен в сию минуту мой гость!

Я, уходя, оглянулся. Музыканты явно повысили темп игры, были вновь воодушевлены, видать, полетом красных птиц с ладони Хангуассы...

Не успел я тогда даже задать себе вопрос: откуда у нее эти птицы перелетные, в какой масляной реке купается ее муж?.. Меня усадили за стол свадебный, и тут уже было не до праздных размышлений. Обычай застолья осетинского навязал свой ход и свои песни...

Теперь же страшная беда, случившаяся перед моими глазами, заставила вспомнить тогдашнюю Хангуассу, лицо избалованной жизнью красавицы. Она никак вязалась с тем, что ныне ее колени прикрыты полами сшитого по моде, но уже изношенного пальто, а рваный чулок защит крупной строчкой... Я замешкался, увидев ее окровавленное красивое лицо. Сердце захлестнула жалость, но, опомнившись, крикнул:

– Машину!.. В больницу!..

– В сию минуту! – встрепнулся перепуганный шофер.

Хангуассу поднял я на руках и, видимо, занули ушибы на ее теле, она застонала, потом с трудом, медленно открыла свои большие черные глаза.

– Помоги мне! – сказала и ладонь слабой руки опустила на мое плечо.

Только в больнице обратил я внимание на ее поношенные туфли на

низких каблуках. Заметил, что к ним были приклеены резиновые пластинки, чтобы стали выше. Мне не казалось, что эти резиновые наклейки лишили их изящества.

Вспомнилось мне, как горделиво, выделяясь особенно своим изящным станом, она шагала по улице когда-то, и сколько раз тайком смотрел за ней; как с ее ладони взлетали красные птахи и устремлялись к развеселым гармонистам. Вспомнили и то, что минут десять тому назад и я цвел-расцветал весенним шиповником, воодушевленный туго набитым карманам...

Сердце от чего-то заныло и похолодело. Деньги в моем кармане вмиг превратились в спящих гадюк. Проснулись в одночасье, зашевелились и стали грызть мое сердце ядовитыми зубами.

И кинулся к врачу с искренними мольбами.

– Если хорошенько присмотреть за ней... Если будут необходимые лекарства... Правда, они очень дорогие... – доктор испытующе оглянул меня, – не вздрогну ли я от упомянутой дороговизны лекарств. Хотя и не спросил меня: кто я для нее?..

Карман мой зашевелился, словно отдельное существо, не приятное для меня. И мне мучительно захотелось отмежеваться от него... от моего кармана!.. И, видимо, все это выразилось опять на моем лице.

Тут же преобразилось и лицо врача. Оно стало угрюмо мрачным. Брови нахмурились. К тому же полнота придавала лицу какой-то зловещий вид. Видимо, он решил, что молвь о деньгах испугала меня.

– Постараемся, – лениво, нехотя добавил он еще к своим намерениям.

Правда, немного успокаивает меня радостный звон докторского голоса: «Все будет в порядке! Вот увидишь!..»

И я верю ему. Не врачу, нет. Он и сам верит... только деньгам. А я верю в человека. Верю Человеку. Верю в Хангуассу.

Пусть она даже не поблагодарит меня. А я должен провести ее... Все ли у нее в порядке, как обещал врач. В порядке с ее уж поношенным пальто и рваным чулком, дурно заштопанным... Лишь бы только на каблуках ее туфель никогда больше не было резиновых наклеек...

Да, я верю в Человека, в его неизбывное достоинство. Верю в Хангуассу.

Перевод с осетинского Нафи Джусойты



Физик по образованию, кандидат в мастера спорта по шахматам. Автор нескольких прозаических книг. Пишет на абхазском и русском языках. В 2007 году в Москве вышел роман «Берег ночи». Директор Абхазского государственного издательства. Живет в Сухуме.

– Раньше было иначе – немало хищников водилось в лесу. Большой наносили урон: скотина, что не вернулась вечером, считай, пропала – на следующий день находили одни лишь обглоданные кости...

Дедушка и сегодня свою историю, которую он рассказывал не первый раз, начал, как всегда, если не считать некоторых изменений. Так, при последнем пересказе зачин был немного другой: «Прежде в наших лесах обитало много различного зверья. Большой вред наносили крестьянам: ночью застрянет скотина в лесу – утром обязательно найдут загрызенной».

Сегодня у дедушки и голос был другой – усталый. Наверное, оттого, что весь день работал в саду – обстригал яблони, подправлял забор.

И осевший голос дедушки, и новые слова, иной порядок прежних слов – для мальчика все имело значение, все было полно скрытого смысла. Всякий раз эти незначительные изменения будили в его сердце надежду: нарастая от рассказа к рассказу, они со временем отменяют конец – то, как дедушка убивает волка. Неважно, как это произойдет – или он промахнется, или ружье даст осечку, или волк не попадет в засаду.

Качнет дедушка головой, сделает упор на какое-то слово, взглянет на него, жадно слушающего – все примечалось мальчиком. Ему казалось, что и новые слова, каждый раз вторгающиеся в дедушкин рассказ, преследуют ту же цель: уберечь волка от неотвязно преследующей его пули. Да и дедушка тоже к тому правил свое повествование: к концу речь его замедлялась, шла с натугой – словно хотел забыть давнишний случай, хотел, чтобы у этой истории было иное завершение.

Дедушка боролся с собой и со словами. Но всякий раз что-то более сильное побеждало его.

Может, сегодня будет по-другому, и слова в своем течении протекут мимо последнего «я убил волка»?

– В тот год стояла необычайно суровая зима. Снегу навалило по колено, не сходил долго, промерз насквозь – твердым, как камень, слоем покрывал землю. Зверье в поисках пищи спустилось с гор, где стояли лютые морозы, – в низовья, в наши леса. Ночами, но, бывало, и днем волчьи стаи рыскают по селам, зазевавшуюся скотину тут же рвут. Одного-двух не в меру дерзких волков подстрелили, но легче не стало: скот задирают так же, несем убытки. Тогда сельчане решили устроить на хищников облаву. А делалось это так. По одну сторону леса в засаде располагались охотники, по другую – с шумом входили в лес остальные, распугивая зверей. Те в страхе давай бежать от них туда, где за-сада...

Дедушка подложил дров в огонь и прислушался. В подсобке стояла тишина. До этого было слышно, как старуха мыла посуду: стаканы, тарелки, ложки... Наверное, полотенцем высушивает их, решил старик. Когда донеслось старухино шарканье, он продолжил рассказ.

– Я с детства пристрастился к охоте. Лишь выпадет свободная минута – ружье на плечо и в лес. Мне везло, Ажвейпш* был ко мне благосклонен. Со временем заимел славу удачливого охотника, чей глаз остер, а пуля разит наповал.

Он приготовил порох, сам отлил пулю (картечью убить невелика хитрость, а вот одинарной пулей – тут сноровка нужна), до блеска вычистил ружье. Разного зверья на его счету было немало: кабаны, олени, косули, туры, медведи, чьи шкуры, ветвистые рога, загнутые клыки украшали их акуаскья**, – но волк еще ни разу не попадался. Будто заклятье висело над ним – завидев волка, он даже и курок не успевал взвести, не то что выстрелить. Зверь мигом испарялся, будто не он, а его призрак явился ему. Навскидку сбивал пролетающую птицу, а с волком...

По молодости очень переживал дед свое невезение. Как он посмотрит в глаза односельчанам, если удача и на этот раз повернется к нему спиной?!

С рассветом люди вошли в лес. Охотники или просто имевшие ружье и умевшие стрелять – те засели в засаде. Остальные подняли невообразимый шум, спугивая зверье.

Он расположился в развилине огромного дуба, под которым проходила узкая тропинка.

Небо сыпало мелким снегом. Позже много выпало его, и похолодало сильно, но в тот день природа будто сдерживала себя. Голыми ветвями расчертив воздух, одинокие, чужие друг другу, стояли деревья.

Ждать пришлось долго. Голоса загонщиков подступали все ближе, несколько выстрелов пронзили морозный воздух, но в его сторону никакой зверь не показывался. Лишь пара зайцев пугливо нырнула в кусты, да лиса пробежала тропкой, раза два опасно оглянувшись.

Он уже потерял было надежду, как вдруг... увидел его!

Он шел по тропе прямо к нему. Рослый, гордый волк трусил не спеша, иногда брезгливо, нехотя поворачивая голову в сторону выстрелов. Суровая зима, нехватка пищи изрядно сказались на нем – был худ, изпод полинявшей шерсти выглядывали суставы. Но это не могло скрыть того, что волку неведомы ни упадок сил, ни упадок духа.

Когда волк приблизился на расстояние выстрела, дедушка присвистнул коротким сильным свистом. Волк стал как вкопанный, вскинул голову

и огляделся. Он смотрел без страха, и на миг дедушке показалось, что их взгляды встретились – и желтые волчьи глаза холодно, безжалостно, с непонятым укором посмотрели на него.

Он выстрелил.

Волк подпрыгнул. Отлетел на несколько метров. Упал. Затих.

– Прямо в голову попал...

«Веретеном закружился на месте и упал», – сказал дедушка при последнем пересказе. Пока он сидел на дубе, «тучи разошлись, и между ними проглянуло солнце».

Но самое удивительное – была опущена чуть ли не половина рассказа: «Вот уже три зимы этот матерый волчище не давал селу покоя: то быка задерет, то лошадь, то ураганом ворвется в козье стадо и половину удавит. Видные охотники что ни делали, но не могли застрелить его – сроду не знавшие промаха, стоило им взять его на мушку, как их пули летели мимо. «Большой!» – в один голос твердили они, описывая волка.

Он слушал, но не очень верил, считал все это выдумками незадачливых стрелков. Не верил, пока волк не загрыз их огромного белого буйвола. Стало ясно: в их лесах завелся невиданный доселе зверь.

Раз посреди ночи его разбудил дикий вой. Кричать так могла лишь сама ночь, которой стала невоготу собственная тьма. Казалось, воющий одиноко во мгле зверь исторгает из себя всю боль мира.

Он резко присел на кровати. С него струился холодный пот.

Назавтра в селе только и говорили о ночном происшествии, внушившим всем ужас.

Ужас испытал и он. Стоило ему вспомнить тот вой, как сердце начинало бешено биться. Он нарисовал себе образ волка: могучий, красивый, страшный...

И он решил убить зверя. Сердце говорило: им вдвоем не ужиться под луной: или он, или волк...

Потом они вышли из амацурты*** и направились к акуаскья, где должны были спать.

– Всякими небылицами стращаешь мальчика! – проворчала бабушка. – Постарел, а ума не нажил...

Когда в амацурте потушили свет, их объяла ночь. Вначале мальчик решил: ночь не даст им и шагу сделать – так густо, неуступчиво обступила она их. Но дедушка, который держал его за руку, запросто пошел вперед – и ночь разомкнула объятия, отступила, дала дорогу.

Мальчику подумалось, что сияющий след их тел пролегает сквозь тьму,

и он оглянулся. Но позади них ночь тут же обрушивалась, накрывая собою все незримое.

Мальчик снизу взглянул на деда. Он терялся где-то в вышине, среди мигавших звезд. А грубая, тяжелая рука его постепенно покрывалась нежным пушком, ногти – росли и заострялись; но они не вонзились в мальчишечью ладонь, а бережно, с любовью коснулись ее.

Мальчик опустил было голову, но потом вновь поднял ее и посмотрел наверх. Там, наверху, затмевая звезды, блестели волчьи глаза – глаза деда.

Мальчик крепко прижался к деду...

*Божество охоты (абх.)

**Большой деревянный дом на сваях (абх.)

***Отдельный кухонный домик (абх.)

До сегодняшнего дня я был единственным обитателем и хозяином этого дома. Но с недавних пор у меня ощущение, что в нем поселился кто-то еще. На днях я окончательно уверился в этом: прибор для бритья, оставленный мной, как всегда, чистым, утром я нашел в спекшейся мыльной пене и грубых волосах.

Я прошелся по комнатам, и повсюду мне попадались следы того, кто решил занять мой дом. Раньше я не замечал, но по всему было видно, что он давно уже вольготно обосновался тут. И я вспомнил, как среди ночи был разбужен непонятным шумом, а в другой раз, когда возился с книгами – счищал с них мелкую пыль и бережно ставил на место, услышал, как громко хлопнула одна из дверей. Я решил – ветер, сквозняк, потому что не мог и подумать, что кто-то осмелится без спросу зайти в мое жилище. Да и как он зашел бы, если ключи были только у меня одного.

Как бы ни было, он зашел и, похоже, не временно, а на правах нового хозяина. Все говорило об этом. Гость не ведет себя так развязно, он знает, что нельзя злоупотреблять терпением хозяев, потому тих, спокоен, не повышает голоса, не вмешивается, куда ему не следует, словом, знает свое место. А этот же нагл: переставил мебель, поменял обои, на место моих скромных цветов поставил какой-то мерзкий радужный букет...

Будто этого мало, уходя, он оставлял все окна нараспашку, а двери никогда не запирали. Слышанное ли дело! Ведь могли забраться воры и просто чужие. Я в последнее время не покидаю свой дом, но и раньше, когда изредка выходил, двери и окна закрывал плотно, на ключ.

Все, что было в доме, было моим, потому требовало особенно бережного отношения.

Но кто-то хотел пустить все мои труды насмарку, и я не знал, как выдворить его. Сперва мне показалось, судя по его поведению, он знает, что он – не хозяин, потому так небрежно относится ко всему. Иначе не оставлял бы двери незакрытыми, не стряхивал бы где попало пепел от сигареты – дом мог загореться. Нет, не похож он был на человека, решившего стать хозяином дома, все он делал играючи, не думая.

Каждое утро он куда-то уходил, видимо на работу. И тогда в доме, и в моей душе воцарялся покой. Как прежде!

Но вот возвращается к вечеру, и не один, а с друзьями, и всю ночь – пение, танцы... Бедный дом дрожал. Не раз думал я зайти к ним и отругать их, выгнать даже. Но сдерживал себя – все надеялся, что он уберется подобру-поздорову. Ведь должен он когда-то понять, что таким,

Гость

как он, перекасти-поле не место здесь, и тогда он потихоньку соберет свои вещи и будет таков.

Но как бы ни так! День ото дня он становился все нахальнее: то уронит что-то, то хлопнет дверью, то громко говорит с кем-то по телефону... Будто меня нет вовсе.

Однажды я понял, к чему вся его бурная деятельность в последнее время. Все, что я собирал годами, он вынес из дому и занес новое, свое.

Это было уже выше моих сил. Настало время лицом к лицу сойтись с ним и поставить точку.

Я напряг слух, чтобы разведать, где он. Из отдаленной комнаты послышалась возня. Я рванул туда, но пока я дошел, он – в соседнюю комнату. Напевал какую-то песенку, довольный собой.

Я никак не мог догнать его, примечу его беззаботную самоуверенную спину – она тут же исчезает, словно растворяется в воздухе.

В этой долгой одышливой погоне я случайно задел, и он упал – стул.

Я стал как вкопанный: упавший стул не издал ни звука. Я поднял его и с размаху хватил им об пол. Он развалился – жалко и неожиданно хрупко, поломанными ножками разлетаясь в стороны, но из его горла опять – ни единого звука.

В доме – в моем доме! – не было слышно меня.

Я рванул к зеркалу. Зеркало было моим надежным прибежищем – оно никогда не лгало, оно всегда подтверждало. Но сейчас и в услужливом зеркале я не нашел себя, я был вычеркнут, вернее, стерт с его спасительной глади. Оно сквозь меня отражало все, что видело, но не меня.

А песенка того все доносилась.

Я не мог уже оставаться в доме. Я распахнул тяжелые двери и вышел за порог.

Меня ждала тьма, непроглядная тьма...

В послании было сказано, чтобы я в таком-то месте и в такое-то время ждал его.

До назначенного срока еще далеко, но я не удержался и пришел раньше. Встреча наша слишком много значила для меня, и потому, как услышал о ней, не знал покоя, торопился.

Вначале, когда я понял, куда он клонит, я был ошеломлен, долго не мог поверить, что это относится ко мне. Зачем? Почему? Правда, я всегда жил в предчувствии чего-то подобного – что в моем странствии стынь этих слов рано или поздно меня нагонит. Но не думал, что их разящий смысл будет таким неожиданным и тягостным.

Я решил увернуться от встречи, выбрал другие, не мои, пути. Мне казалось: хоть и время вело к неминуемому сроку, избегнув назначенного места, может, я избегну хоть малости того, что назначено мне.

Так я исходил множество дорог и жил долго в тумане...

Но в один день я понял: в послании указано, что это я должен явиться вовремя, не опоздать. Меня ждут. Не стоит упрямитесь, надо идти туда, куда ведет тебя твой путь.

Моя ноша стала легче, словно поток подхватил. Да и послание не казалось уже таким тягостным, было любопытно, возможно ли его исполнение.

И все же временами меня разбирало сомнение: а было ли оно, послание?.. Не придумал ли я его, не обманываю ли себя?..

Но постепенно я поверил, что послания не может не быть, и с тех пор я уже спешил на встречу...

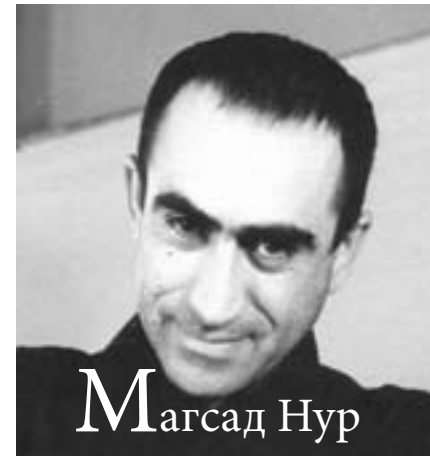
Я слышу его шаги, которые ни с чем не спутаешь. Меня ждало что-то важное, не то, что было до сих пор, и я был готов принять его.

Он все ближе и ближе.

Подошел.

Передо мной стоял тот, чье послание я получил, и он был – я...

Перевод с абхазского автора



Родился в 1968 году. Основатель первого литпортала на азербайджанском языке. Книга «Как назло» – победитель в номинации «Книга года» по версии Организации писателей и деятелей искусства нового поколения. Был включен в Лонг-лист Национальной книжной премии Азербайджана (2010) и Шорт-лист Национальной книжной премии Азербайджана (2011). Рассказы переведены на русский, украинский, английский, французский, польский и другие языки. Живет в Баку.

Даже при посторонних жена ласково воркует с ним: «джаны-ы-ым», порой это сюсюканье претит, коробит его, не хотел бы он выставлять эти нежности напоказ. Конечно, она в нем души не чает, и все должны знать об этом, и она будет твердить вновь и вновь, сотню, тысячу раз, что он для жены – «джаным».

А жена для него «джаным» или нет – вопрос. Мамед для нее – да, и слышит это каждый день, всякий раз – уходя на службу, возвращаясь домой, отправляясь за хлебом, попросив подать чай...

Сторонний человек подумает, надо же, это ведь не просто ласковое словечко, а жар души, это трепет сердца, которое распирает от наплыва любви и нежности...

Небольшого росточка, сравнительно молодая, жена ужасная мерзлячка – в холодную погоду съезжится, укутается одеялом, сожмется в комок. А когда Мамед собирается на работу – бежит в прихожую, подает пальто и пуговики застегнет, юркнув ему под мышку, потом вынырнет, обовьет руками шею на прощанье.

Мамед Джамалбеков хотя и любит свою половину, но по выходным дням не может усидеть дома, если не наведается на работу, чувствует себя не в своей тарелке, становится раздражительным и ворчит по пустячному поводу. А когда и в холодные дни случается такое, жена обиженно бежит к постели, утыкается лицом в подушку или же, причитая, постанывая, лукаво набивается на жалость, чтобы он, скинув пальто, вернулся к ней, и она, возликовав в постели, прильнула к нему, осыпая поцелуями...

Но и в такие дни уловки не удавались, и Мамед Джамалбеков уходил на работу, оставив жену в слезах.

Где те времена, когда он как на крыльях летел на свидания с суженой, перемахивая через заборы, звонил ей по телефону-автомату у станции метро, висел на трубке, соловьем заливался, лишая любимую сна и витая в облаках.

Заклинал знакомых, уезжавших в горные села, привезти пучок горного нарцисса. Она только раз заикнулась просто так, что предпочла бы гвоздике простые цветы. Или, скажем, горный нарцисс. Вот он и старался. Столковался с парнями, которые по утрам торговали полевыми цветами, привезенными из сельского приволья. Как только получили квартиру, установил подоконники горшками цветочными, устроил целый вернисаж, но прошло время, цветы увяли, зачахли, остались без присмотра. И жена не ухаживала за этой красотой, не охоча была садовничать, ее больше занимали «ящичные» цыплята – две пары этой

живности сельской приютила в теплом закутке, в кабине, где стояли компьютер Мамеда и аквариум. Жена мечтала раздобыть для этой домашней птицы прозрачные, как аквариум, ящики, но это оказалось делом затруднительным. Да и Мамед не горел желанием искать.

В прошлом году на 8 Марта он где-то нашел и принес горную фиалку; жена нарадоваться не могла, порхала вокруг Мамеда, то хохотала без умолку, то, притихнув, возилась на кухне, предаваясь воспоминаниям, и грустнела. Каждый раз, получив какой-нибудь сюрприз, вспоминала горный нарцисс... «Где теперь сыщешь горный нарцисс?.. – думал Мамед. – Те, которые в лавках продают, – парниковые, ни запаха, ни прелести». А жене дай хоть веточку дикой алычи, лишь бы с живой природы, поставит в воду, будет ухаживать, а увянет – прослезится тайком. Но на цветы в горшках и краешком глаза не взглянет.

Потому Мамед старался избегать этих домашних опостылевших церемоний и разбирательств, замкнувшись в своей идеальной любви и недостижимых мирах; иногда ему казалось, что и жена – одинокий инкубаторский цыпленок, пробавляющийся в воображаемом стеклянном ящике...

Как и в прошлом году, седьмого марта, накануне праздника, он вышел из дому под предлогом поисков горного нарцисса, а сам подался на место работы, там и застрял: оказалось, телефоны отключили. В АТС у него был добрый знакомый, в случае неполадок со связью или отключения из-за задолженности сослуживцы уповали на него. Мамед и рад, пусть знают, что и он не лыком шит.

Ночью выпал мокрый снег. К утру унялся, но налетел и разгулялся хазри.

Перед уходом жена удерживала, заклинала остаться дома: мол, такой ветер, не до горных нарциссов.

Но он не послушался, хотя и предлог его оказался неубедительным, в душе он пожалел жену и для очистки совести решил-таки придумать сюрприз к завтрашнему празднику; закрыл дверь за собой с этими мыслями. По сути, ему поднадоело насиловать свои желания; не забыть бы чей-то день рождения, не упустить из виду кого-то поздравить с праздником, сказать жене приятные «сладкие» слова по торжественному случаю и прочие подобные вещи, превратившиеся в неизбежную обязанность. Он хотел бы покупать цветы, дарить их по велению души, говорить приятные слова не ради дежурного говорения, – тихо, без пафоса, пусть жена прослезится от счастья, а он выйдет на балкон, светлея лицом, вслушиваясь в мелодию, проснувшуюся в сердце, и отзовется ей, подпевая...

* * *

В тот ветреный день на АТС знакомого не оказалось, дежурила молодая девушка, и он купил по случаю завтрашнего Восьмого Марта белые гвоздики; у нас до Черного января многие люди на белые гвоздики смотрели как на символ разлуки. В январские дни девяностого года улицы, площади, кладбища заполнили алые гвоздики. Цветоводы позднее стали больше выращивать белые; и Мамед на сей раз купил белые гвоздики, чтобы в праздник не вызывали скорбные воспоминания.

У входа в здание АТС он увидел старого человека, уговаривавшего хмурого сторожа, мешая русские и азербайджанские слова:

– Сана гурбан олум, завтра ее будут поздравлять... Она больная, понимаешь? Хастадир. . Мне обязательно нужен телефон. Откройте наш номер. Даю слово, оплатим за неделю... Хотя бы на один день откройте... Потом отключите...

Конечно, не сторож решал эти вопросы; судя по виду, он был человек новый на АТС и особой вежливостью не отличался. Взъелся на старика, хотел было даже отпихнуть, но, взглянув на просителя, отвернулся и ругнулся. Перевел взгляд на Мамеда, ища у него поддержки, но Мамед смерил его укоризненным взглядом, и сторож, подправив штаны, загородил дверь.

* * *

Старик со слезами на глазах повернул обратно.

Мамед, устремившись за ним, хотел было запихнуть ему в карман деньги. Старик, не глядя на него, удержал его за руку, потащил за собой несколько шагов, остановился.

– Зачем мне ваши деньги, – с горечью выдохнул он. – Чем подавать милостыню, лучше позаботьтесь о любимой женщине...

Старик смахнул слезинки, скатившиеся из голубых глаз.

– ...Падите на колени перед ней... Поцелуйте руку... Скажите доброе слово... Утешьте, приголубьте взглядом... Только она поймет, вы лжете или искренни в чувствах своих...

Шли по бывшей трамвайной дороге, чтобы добраться до ближайшей станции метро. Морозный воздух обдавал лицо, больно саднило ноздри. Старик осекся, достал из кармана выглаженный платок, утер лицо. Он был в стареньком, потертом пальто, в скособоченных туфлях. Брюки на манжетах подшиты изнутри, но были заметны стежки, на шее шарф со взъерошенным ворсом, из-под него выглядывала сатиновая сорочка без галстука.

Одет непритязательно, неказисто, но опрятно. Мамеду почему-то ка-

залось, что от него должно было нести перегаром, вином ли, пивом ли. Но ничего подобного. И вроде стужа ему нипочем. Окинув испытующим взглядом Мамеда, он прошел вперед и зашагал вразвалку.

– Телефон не работал... – продолжал он прерванный разговор. – Мне пришлось соврать Маргарите Евгеньевне... то есть моей половине... Я никогда не лгал ей, верите? Поднял трубку – вижу, отключили. Я побежал на АТС, чтоб попросить открыть линию... Предупредить подруг, чтоб вечером не нагрянули с шумом-гамом... Знаете, ей покой нужен... Да еще вот, хотел нарциссы купить ей...

– Нарциссы?

– Да... Вот такие ваши гвоздики вряд ли развеселили бы ее...

Старик покосился на белые гвоздики. Наклонившись, легонько погладил лепестки. Вскинул глаза из-под ошетилившейся меховой шапки.

– Позвольте представиться: Василий Данилович. А как вас звать-величать?

Мамед назвал себя.

Он был заинтригован неожиданным откровением и поведением старика.

– А может, Маргарите Евгеньевне понравится? – осторожно сказал он.

– В такую холодину вряд ли нарциссы станут привозить в город.

– ...Благодарю за великодушие...

– Так что берите.

– ...Я скажу ей, мол, один добрый господин прислал... Впрочем, милости прошу к нам, сами ей и вручите. Она будет рада...

– Мамед ошеломленно уставился на этого старого рыцаря, явившегося в этот морозный ветреный день на безлюдной улице будто из тех времен, когда по городу катили фаэтоны.

– Маргариту Евгеньевну вернули с того света. Но, увы... Я молил Бога: не приведи, Господи, мне пережить ее... Господь не хочет внять... Видно, грех был на моей душе... Она на шесть лет меня моложе... Ее ровесницы все еще не забывают охорашиваться... Я о них только что упоминал... Старые девы! Если телефон не восстановят, нагрянут как пить дать, начнут утешать, мол, не тужи, все образуется... Впрочем, если это придаст ей сил, ладно, пусть приходят... Маргарита не должна умереть... Не имеет права...

Старик говорил так доверительно, будто знал Мамеда с давних пор, пуд соли съел с ним, некоторое время шли молча; было слышно, как воеет налетающий хазри, скрипят поношенные туфли старика.

* * *

Дошли до метро.

Мамед, основательно продрогший, ускорил шаги к вестибюлю станции, откуда веяло прогретым воздухом; собирался распрощаться с Василием Даниловичем и, оставив поиски горного нарцисса, помчаться домой, и там, отогревшись под тепленьким боком своей благоверной, поведать ей о необычайной и трогательной встрече под сочувственные вздохи сердобольной спутницы жизни. Конечно, она прослезится, понятно, заплачет и в порыве нахлынувших чувств вновь назовет его «джаным!» Вновь вспомнит, сколько перетерпели, сколько лиха хлебнули, строя свое гнездо, вспомнит пальто с драной подкладкой, которое сшили из солдатского шинельного сукна, и будет молиться Аллаху за день насущный... а после, как цыплята в ящике, прильнет к какому-то уютному рельефу мужниного тела...

Мамед окунулся в тепло станции метро, старик медленно тащился за ним, похоже, он держал путь в другую сторону. У входа Мамед все же решил приличия ради обернуться и попрощаться; старик опередил его: – Очень рад был знакомству с вами! Давненько в этом городе не видел, чтобы кто-то кому-то посочувствовал... Ностальгия, сударь мой, старческая болезнь...

Он произнес «ностальгия» с такой торжественностью, что Мамеду показалось: перед ним человек из другого столетия или из неведомой и далекой страны.

– Который час? – спросил он, показав глазами на наручные часы Мамеда.

Мамед пожал плечами:

– Батарейка села. Ношу, чтобы не забыть сменить...

– Терпеть не могу эти японские штучки! Но теперь они и сами переходят на механические.

Василий Данилович искал зацепку, «японцы» были просто предлогом. В иные времена Мамед не уклонился бы от беседы, поболтал бы, тем более что техника была его «коньком», но теперь он был не охотник до шапочных знакомств и спонтанных прекраснодушных излияний, стал не то чтобы остерегаться людей, но более щепетильным и разборчивым. Не любил, честно говоря, словоохотливых, особенно тех, кто плакался в жилетку и выставлял свои болячки. Что касается «японских штучек», то у него было свое мнение на этот счет, и продлись их общение, он бы вступил с Василием Даниловичем в спор и стал бы распространяться о пользе и благе японских новшеств для цивилизации... Возможно, и укорил бы старика и тех, кто не может радоваться чужому успеху...

Мамед был компьютерщиком, и далеко не каждый специалист в городе мог бы потягаться с ним. Но держался в тени, трудился в одной из небольших типографий дизайнером, и там, в подвальном помещении, устроил платные курсы и посвящал любознательных юнцов в азы ремесла. С поколением шустрых и продвинутых компьютерщиков, ловкачей-хакеров, ворующих программы стекавшихся в город инофирм и продающих их доморощенным дельцам, ему было не по пути. Поднабившие в этой сфере фирмачи предпочитали брать на работу «своих» знакомых и их отпрысков, мало-мальски кумекающих в английском языке, и охотились за наваристыми клиентами-иностранцами. Таким образом в городе плодились мелкие артели компьютерщиков. Мамед держался от них подальше, говорил, что они не способны чувствовать живую душу этих умных машин и постепенно сами теряли душу...

* * *

В метро они смогли отогреться. Доехали до станции «Гянджлик».

– Может, податься мне в лесопарк возле зоопарка и поискать там какой-нибудь цветочек... веточку?.. – проговорил Василий Данилович, не вынимая рук из карманов пальто. Поколебавшись, он решился высказать предложение, которое держал «про запас»: – Знаете, что? Я могу вам показать такие часы, что ахнете. Эти штампованные японские, тайваньские штучки – бесчувственные, безликие продукты конвейерных монстров. Вы уж поверьте старому мастеру, дорогой Мамед. Окажите милость, пойдемте со мной... Маргарита Евгеньевна воспрянет духом... Я не останусь в долгу за оказанную честь...

– Аллах с вами, какая честь? И что может изменить мой визит?

* * *

Они обошли лесопарк в поисках какого-нибудь нечаянного цветочка или веточки с набухшими почками. Василий Данилович шагал уверенно, легко ориентируясь в густом зеленом массиве, – сосны, кипарисы, софора, тутовые деревья, фисташки, какие-то кусты, похожие на тамариск. Видимо, старик был изначально уверен в бесплодности поисков; пока они бродили по лесопарку, он успел рассказать о своей трудовой биографии: о том, как тридцать пять лет проработал часовщиком возле сквера, который бакинцы именовали «Парапетом», о связях с одним из часовых заводов в России, о том, что даже сейчас имеет честь быть торговым представителем одного российского завода в республике; а главное – о своем хобби, – оказывается, он коллекционировал антикварные часы. К клиентам обращался не иначе как со словами «господин» и «мадам».

А в последние годы к нему заглядывали не столько по делу, сколько затем, чтобы разговорить его о старых добрых временах. Мальчишки, куролесившие на Парапете, посмеивались, глядя на его старомодную шляпу и передразнивая его церемонную речь.

– Российские часы берут только европейцы, как раритет или экспонат, даже «Командирские» часы не пользуются спросом... Ведь магазины наводнили японские изделия, к тому же дешевле...

Пройдя через лесопарк, дошли до распотрошенного, развороченного памятника, из которого торчала арматура, дальше открывалась улица, по которой ходил доживавший свой век трамвай. Стужа давала о себе знать, и пролязгавший по рельсам 14-й номер вернул Мамеда к реальности дня, и он мысленно отругал себя за это бессмысленное утомительное хождение по парку и вообще неумение избежать праздной траты сил и времени.

Вот и остановка. Трамваем можно было добраться восвояси; но он вспомнил, что дал слово Василию Даниловичу заглянуть к нему домой и поглядеть его антикварные сокровища, которые в принципе Мамеду были ни к чему, так же, как Василию Даниловичу – бессмысленная и бесполезная экскурсия по лесопарку в этот неуютный и промозглый мартовский день.

И Мамед ощутил себя в роли живого сюрприза, который его словоохотливый попутчик хочет преподнести своей неизлечимо больной супруге.

Они перешли через трамвайную линию, и Василий Данилович, как охотник, поймавший добычу, воодушевленно продолжал откровенничать:

– Маргарите Евгеньевне, знаете, господин Мамед, нравятся сдержанные, степенные натуры, чего не скажешь о вашем покорном слуге... И ей приходится терпеть столько лет такого чудака.

Старик обернулся, взял Мамеда под руку и, то ли из желания расшевелить приунывшего знакомого, то ли в оправдание своего жеста, могущего показаться неуместно-панибратским, стал доверительно посвящать его в семейные заботы и треволения.

– Володя служит в Тихоокеанском флоте, подводник... Маргарита говорит, сын в нее пошел. Оно и верно. Взялся за толковое дело, о семье, о нас, стариках, не забывает, знает цену честно заработанному хлебу. А с дочкой не повезло... Здесь, в Нефтяной академии, сошлась с каким-то арабом и умотала за границу, а там наш иностранный зятек произвел на свет мальчика и бросил дочь с ребенком на произвол судьбы... Писала на первых порах, а сейчас ни слуху ни духу. Бог знает, в каких пустынях

валандается. Маргарита отчаялась... говорит: отрезанный ломоть... Старик казнил, что предоставил дочери слишком большую свободу, которая дорого обошлась.

* * *

Дом был старый, дореволюционной постройки, с высоким потолком и массивными стенами. По квартире разносилось мерное тиканье часов. Пройдя по длинному коридору, гость вошел в комнату, застеленную крепким дубовым паркетом; его взору предстало целое царство разнообразных часов. Вся стена обвешана ходиками; на паркете напольные. В просторной комнате (видимо, некогда служившей гостиной бывшим хозяевам) не оставалось места для прочих вещей, мебели, за исключением двух выдавших виды обшарпанных кресел; макушки напольных часов в дощатой обшивке, выглядывавших друг из-за друга, напоминали деревянные надгробья. Василий Данилович, оставив гостя на пятачке, исчез за белой дверью, ведущей в смежную комнату, и, вернувшись, чуть ли не на цыпочках пробрался к стене и застыл в углу, скрестив руки на груди, он улыбался и ждал какого-то отзыва от гостя. Без пальто он выглядел помоложе и элегантнее.

После воя колючего холодного ветра, свиста проводов многозвучное тиканье часов показалось музыкой какого-то другого, отрешенного от суеты мира. Мамед, покосившись на хозяина, хотел было что-то спросить у него, но раздумал, замороженный звучанием этого странного оркестра, в котором различались низкие, басовые и высокие, тонкие ноты; вроде бы набор монотонных звуков, но нет, это была музыка, в которой были своя поступь, ритм и гармония, властно подчиняющая своей магии все окружающее, и все предметы, даже сухая ветка, качавшаяся за окном от порывов ветра, казалось, колеблется в такт игре этого «оркестра», и нагие деревья качались в такт этой музыке...

Василий Данилович молча наблюдал за реакцией гостя. И, похоже, чтобы усилить произведенный эффект, открыл панель антикварных часов, стоявших в углу, включив механизм боя. И поплывшие мелодичные удары влились в симфонию этого оркестра. И последний аккорд, затихая, ушел, истаял в железном чреве часов, канул в нетях.

Василий Данилович подал знак, приложив палец к губам. Так же на цыпочках удалился и вскоре, вернувшись, жестом пригласил гостя в смежную комнату.

– Спит, – шепнул он Мамеду. – Слава Богу. А то ведь никак не могла уснуть... В последнее время стала как дитя. Проснется и не застанет меня рядом – пугается... Прошу вас, зайдите ко мне завтра...

Я, знаете, решил презентовать вам часы, – он показал рукой на свое достояние, – какие вам приглянутся. И с ней должен познакомить вас... Стало быть, полегчает ей... Пока поглядите коллекцию... если хотите...

Маргарита Евгеньевна, лежа на боку, спиной к двери, забылась сном, одеяло сползло с нее, лежала в шерстяном халате, на пухлых ногах вязаные носки. Оба молча взирали на женщину, пытаясь уловить звуки ее дыхания. Василий Данилович приблизился к ней, приложился ухом к ее спине; кивком дал понять гостю: «дышит». Приобнял ее, осторожно принялся к затылку, коснулся волос; тихонечко погладил плечо. И, будто совершенно забыв о Мамеде, уронил голову на подушку. Женщина и не шелохнулась. Мамеду стало неловко. Он поспешил ретироваться.

Вернулся в гостиную, к антиквариату, и снова окунулся в странную, мистическую стихию ритмичных звуков, отмеривающих время, бесконечное время; несметные мгновения сменяли друг друга, непрерывно обновляясь, как все сущее на земле, как поколения людей, проживающих отпущенный срок, стареющих, уходящих под эту вечную музыку оркестра Времени, и миллионы ничтожных мгновений поглощают тебя раз за разом, и ты растворяешься в них, в их победительном, неудержимом потоке...

Взгляд его задержался на ветке за окном, нет, она не была сухой и мертвой, на ней проснулись набухшие почки, вот-вот проклюнутся листочки; а ведь они обшарили весь лесопарк в поисках такой вот живой веточки...

Он провел рукой по старым напольным часам, стоявшим у подоконника, они напоминали маленькое надгробие... На циферблате значилось: «Adler Yong». Корпус был сработан из какого-то дерева темно-фиолетового цвета. Ладонью стер пыль – цвет стал ярче, ожил. Но железные внутренности были мертвы. Стрелки застыли.

Он окинул взглядом комнату, прошелся осторожно между драгоценными реликтами.

Мертвые часы были единственными.

Он все еще держал в руках белые гвоздики, купленные для жены.

* * *

В субботу он не смог навестить к Василию Даниловичу. Выбрался только в понедельник, к вечеру.

Дверь была открыта.

Прошел в квартиру и услышал знакомое тиканье. «Оркестр» продол-

жал играть.

Посреди комнаты, где стояли часы, в кресле сидела женщина в шерстяном платье, он узнал Маргариту Евгеньевну, хотя и видел ее только мимолетно, со спины. У окна стояли три незнакомые женщины, прислонившись к подоконнику. Одна из них заслонила собой «Adler Yong». Маргарита Евгеньевна, поднявшись с кресла, сделала шаг-другой навстречу гостю и остановилась.

– Вы...

– Я к Василию Даниловичу...

– Присядьте, пожалуйста. Вы из его друзей?

Мамед кивнул. Она заковыляла к смежной комнате, у белых дверей приостановилась и, обращаясь к женщинам, посетовала:

– Он, бедняга, показывал свои часы всему свету...

И – Мамеду:

– Не обещал ли он вам подарить из этого добра?.. Вы знаете, он хотел их распродать, да не знал, как людям растолковать... стеснялся... Вы можете, если угодно, посмотреть, приглядеться... Он сам и цену не мог назначить... Знаете, на поминки расходы... Я сама назначу... Нет, пусть придет Володя, он знает толк в таких делах...

Она подошла к осиротевшей коллекции.

– Как на грех, и телефон отключили... Мы дали Володе телеграмму. Конечно, придет... Я Василию покойному сколько раз твердила, оплати же, наконец, этот телефон, будь он неладен...

Перевод с азербайджанского Сиявуша Мамедзаде



Родился в 1951 году. Автор более 20 поэтических и прозаических книг. Его произведения переведены на несколько языков. Лауреат литературных, театральных, государственных премий. Живет в Тбилиси.

Фукусима

Быть может, и тогда расцветали такие же соленые и лучезарные утра, синие, морские, с юными волнами, окрыленными белой кружевной пеной...

Быть может.

Не знаю про те утра, но верю, что и тогда многое, а точнее – очень многое было предсказано в рукописях отшельников, отрешившихся от мира сего. Вот, к примеру, что водило рукой одряхлевшего пустытника, написавшего:

«И по причине умножения беззакония во многих охладает любовь».

Кто ему диктовал? Они, разумеется.

Море от семейной гостиницы – в двух шагах. По набережной часто прогуливается очень странный одинокий мужчина. Впрочем, почему одинокий – у него есть макака. Макаку зовут Мака. Время от времени мужчина освобождает ее от поводка. Тогда обезьянка в мгновение ока взбирается то на одно дерево, то на другое. Однажды она спрыгнула с магнолии мне на спину, выхватила из моих рук банан и зашвырнула куда-то далеко мою шляпу... Ветер заставил меня бежать до самого моря, – еле догнал мой летний белый цилиндр. К парасютисту вернулся сильно запыхавшись.

А он даже не извинился, не улыбнулся даже, продолжая свой путь по берегу с удивительно спокойным лицом. Позже мне рассказали о нем: человек этот только недавно вышел из тюрьмы. В свое время его предали все: и мать, и жена, и друг, и любовница, и случайный прохожий на улице... Он обслуживал автобан, был хорошим специалистом по огромным придорожным рекламным щитам. И однажды на щите, перекинувшись через все шоссе, там, где должно было сиять приветственное «Счастливого пути!», вдруг выскочило: «Я вашу мать... всех вас!...»

Барри, наш терьер, не любит Маку. Я уверен, он имеет все основания ненавидеть ее, причем основания достаточно веские.

Жарко. Время от времени от жары в сосняке с треском лопаются шишки. На берегу на черном песке загорают всего несколько человек.

В отличие от тех морей, берега которых жаркое солнце не покидает даже зимой, здесь небогатые отдыхающие. Эту бедность еще больше подчеркивает присутствие одной красивой женщины, которая прямо-таки сверкает, вся в золотых кольцах-серьгах-ожерельях. У королевы пляжа (так я называю ее про себя) и тело, и смех – все сверкающе-звонкое. Порой, глядя на нее, в мыслях своих я далеко ухожу: а сбрасывает ли в постели королева пляжа свое портативное богатство, или граци-

озно предается нежно звенящему жемчужно-золотому сексу...

По утрам, за завтраком, напоминает мне о королеве пляжа хлеб, который пекут тут же, в гостинице, – он теплый и мягкий, кружащий голову извечным своим ароматом.

Не торопишься приходить.

Слишком опаздываешь.

И прошлой ночью, как всегда, я до трех часов не отрывался от лептопа. А потом мне не давали заснуть песни влюбленных цикад. Задремал только на рассвете, и в моем сне снова появился желтый дом. Вновь я вступил в тот дом... Ты сидела у стола и улыбалась мне глазами... В оконной раме прорисовывалась пирамида, под тенью которой рядышком спали пьяный фараон и пьяный раб.

Кроме цикад и лептопа, не давала мне спать и проживающая по соседству парочка – всю ночь под ними скрипела кровать. В комнатах гостиницы стояли огромные старые кровати того периода ушедшего века, когда массы охватило безудержное, почти дикое, стремление к комфорту...

Барри тоже плохо спал.

Да к тому же в голове все время постукивало одно слово: spam, spam, spam, spam...

Утром обслуживающая столовую женщина предложила мне вино, местную изабеллу, хитрый обманчивый напиток, сладкий, как портвейн... Наверное, это возраст виноват – легко пьянею от двух стаканов, и красивые женщины уже издали заставляют учащенно биться мое сердце...

Прежде чем отправиться купаться в море, я еще немного побродил в Facebook-е. Когда просмотрел мои фото в «профиле», то понял, что в ближайшие дни могу заболеть. В мерцающем свете экрана лоптопа даже руки мои показались мне чересчур морщинистыми.

Море у гостиницы мелкое, можешь брести и брести по песчаному мелководью, а вода все никак не дойдет и до груди... Зато по этой же причине море здесь быстро теплеет – достаточно, чтобы солнце пригревало хоть пару часиков. Сегодня дельфины плескались совсем близко. Сначала слышался шорохи, я подумал, что это волны, глянул – афалины! Видимо, преследовали косяки ставридок. Их было много, до тридцати, наверное.

Возвратившись в гостиницу, я включил телевизор, – почти шестисотканальный, включил почти механически. И скоро же выключил: какой-то тип верещал на незнакомом мне языке; на экране телевизора это выглядело так: будто его, перерезанного чуть ли не пополам, по-

местили в медицинскую банку и залили спиртом. Ты запаздываешь. Опаздываешь. Тебя не видно нигде.

Я спускаюсь вниз и отношу собакам здешней набережной хлеб и колбасу. «Сегодня Господь прислал вам это моею рукой, завтра вас отыщут другие... Крепитесь!» Знаю, ветерок тут же уносит мой шепот к тебе. И вот, наконец, ты показалась. Морской ветерок как бы колышет тебя, твои влажные распущенные волосы – как пшеничное поле после дождя. И глаза твои тоже влажны.

Мы долго прогуливаемся. Под кустом магнолии парень с девушкой губами заучивают на память лица друг друга. Ты говоришь мне:

– Любовь их растает, и снова останутся только – море и небо.

Так говоришь ты мне.

Незнакомый старик, сидящий с закрытыми глазами, похожий на другого старца, когда-то знакомого нам, жадно вдыхает морской воздух. Вообще-то, если бы тот наш знакомый был бы жив, ему было бы сейчас не меньше ста двадцати лет, и мы бы узнавали о его бытии из газет.

Твои волосы легко касаются моего лица, рукой ласкаю твое бедро.

Эти люди, наверное, спешат в гости – отец, мать, за ними вприпрыжку – две их девчушки. Женщина несет большой белый торт. Семья напоминает мне муравьев, когда-то виденных мною в научно-популярном фильме. Ты улыбаешься мне, словно говоря: мне их жаль.

Мы входим в гостиницу, и нас встречает слишком возбужденный Барри.

Ты просишь меня включить лептоп.

Включаю. Ты смеешься надо мной, говоришь мне: ты сидишь за лептопом, как пилот летающей тарелки за своим пультом управления!

В Facebook-е у тебя уже 786 друзей. А вот и 787-й просит тебя:

«Levan Lazishvili wants to be with you on Facebook».

Ты делаешь мне знак, чтобы я согласился. Подтверждаю «френдство», хотя и ревную: все больше мужчины хотят дружить с тобой. Ты очень красива на фотографии в «профиле» – в красном платье, на набережной. На картинке, в глубине морской дали, виднеется красный танкер. Ты смеешься над моей ревностью, впрочем больше – надо мной.

Я злюсь. Ha-ha-ha, – пишу новому friend-у, а потом еще и – khi-khi- khi.

А вот и письмо пришло:

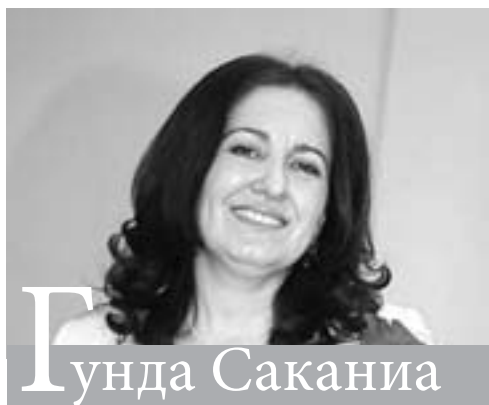
«Пользователь Beso Khvedelidze послал Вам на Facebook письмо...»

Гашу бесконечные предложения в FarmaVille и CityVille.

В Inbox-е еще 11 писем. Кто-то запрашивает: «Мои дорогие френды, зайдите на этот линк и ответьте мне: Бог существует? Сегодня это имеет для меня очень большое и решающее значение».

Пишу под твою диктовку:
«Дорогой мой, сегодня именно тот день, когда Бог в особенности существует везде».
Поймет? Сомневаюсь.
На «главном» проходим по «последним изменениям».
Девушка в алом платке выложила новое стихотворение – «Завтра».
Читаем. :))
А вот и рассказ – «Реальные существа».
: DDD
Сорок фотографий друга – «Старый город»: булыжная мостовая, булыжные мостовые... Балкон, балконы...
Кто-то вспоминает королевскую свадьбу в Англии и публикует фото: невеста перед принцем, наклонившись в очень неудобной позе (38 комментов).
Фото от GUR MAN-а: шашлык, зашипевший на углях (323 комента. В основном – WAIMEEEEE... и SKOCHUUU...).
Фотографии прилавков с яблоками и чурчхелами. SKOCHUUU ... и WAIMEEEEE... (211 комментов).
Кто-то умоляет: «Лайкните мне, что вам стоит, это фото моей деревни, участвует в конкурсе банка!»
Что поделаешь, даем свои «Like».
Фото женщины, лежащей среди стаи волков на снегу, на морозе (сначала я подумал, что это мальчик). В твоем голосе будто льдинки зазвенели, в комнате закружились хлопья снега...
Юноша с завязанными глазами. Араб, наверное. Он упрямо не верит в смерть Бен-Ладена. В комнате появляется призрачный силуэт высокого мужчины – Джон Кеннеди!
Душераздирающее видео – солдаты режут горло солдату. DELETE!
Переводим дух на клипе Матильды – белый лабрадор танцует вместе с хозяйкой, танцует, танцует и улыбается.
В каких-то переговорах кто-то упоминает русского режиссера – Япония наказана за свои грехи; и грузинского священника – японцы наказаны за то, что они не православные.
Чей-то блогг: «Мы – спасемся!» (2 коммента: первый – :)), второй -WAW...)).
Когда соединятся подплывающие друг к другу по сантиметру в год Америка и Африка, только тогда будут у нас счастливый континент – Аферика, и вообще – счастливая планета.
Мне безумно хочется подымить сигарой, но ты не выносишь дыма. Наливаю коньяк. Одна капелька коньяка падает на красную поверхность

стола. Как в замедленном кадре вижу, как она падает. После падения золотистая капля коньяка чуть расплескивается, становясь похожей на миниатюрную королевскую корону. Королевская корона и цвет крови...
Какой-то аргентинский моряк комментирует наше фото (мы сняты вместе с Барри): Bello, bello! Lindos!..
Друг за дружкой следуют снимки Джермука и Шемахи. И там и там идет дождь. Одинаково.
O'NUR прижимает к груди гиену и передает френдам привет из Кении. О, этот дерзкий, этот талантливый O'NUR!
«Гляньте-ка, вот на этот ролик, здесь беседуют лучшие люди!»
После второго стакана бутылка коньяка начинает мерцать изнутри, как в моем сознании та книга, которую никогда не напишу.
Ты напоминаешь мне:
– Первые атомные бомбы назывались «Толстушка» и «Крошка».
Я напоминаю тебе про ту свалку металлолома, где одинаково ржавеют и железо, и люди.
Из текстов и фотографий снова просачивается письмо Гелы Габияни. Который раз пишет тебе этот Гела Габияни:
«Дея, ведь это ты – та, которая вывесила в «главном» за два месяца до несчастья Фукусимы «Fukushima! Господи!» Это ведь была ты? Кто ты? Где ты? Ответь мне!»
Чего ему надо? Что пристал к нам этот Гела Габияни? А он-то кто? Что он хочет? Что нам делать?
И ты заставляешь меня написать:
«Это я, и тогда я была».
Гела Габияни: «Но откуда ты знала, что случится в Фукусиме? Откуда ты знала это? Откуда? Кто ты такая?»
«Я скончалась два года назад... Я мертвая».
Так ты мне продиктовала.
Так набирают эти слова мои пальцы.
И все это именно так.
Барри, в отличие от предшествующих дней, сегодня очень напряжен, даже удивлен чем-то – он не видит тебя, но чувствует твою близость, ищет, бродя по комнате, выглядывает тебя в окно, вынюхивает у стола... На потолок смотрит. Ты гладишь его. Он пригибает голову, как будто боится... Но нет – он радуется! Потом ты надиктовываешь мне очень-очень странный текст, который мы никуда не отправляем, но сохраняем в файле. Я и сейчас читаю его, и сейчас все думаю об этом тексте, но ничего не понимаю...



Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Автор многих поэтических книг. Лауреат Государственной премии Республики Абхазия им. Д.И. Гулиа (2010). Перевела на абхазский язык «Псалтырь» и другие духовные вещи. Преподает теорию перевода в Абхазском государственном институте. Живет в Сухуме.

Песнь Сатаней

Ночь умрет,
Чтоб дню родиться.
Смерть и жизнь
Должны сразиться.
Дождю – литься,
Снегу – виться,
Грому с молнией
Пробиться,
Ветру с бурей
Перебиться.
Ночь умрет,
Чтоб дню родиться.
Смерть и жизнь
Должны сразиться.

Нас зеркало видит,
Не видит.
Мы крикнем,
Но нас и не слышит.
То смейся,
То плачь –
Все одно:
Зеркалу все равно!
Так будет,
Как следует быть.
Мы будем
Смотреть,
Уходить.
А зеркалу разницы нет,
Жизнь отражать,
Или смерть.
Не видит нас зеркало,
Нет!
Видит зеркало свет.
Мы крикнем,
А нас уже нет.

Слышу я шаги дождя,
С неба дождь спускается,
Мы в дожде вдвоем горим,
В дождь одеты, крепко спим.
Ночи сотканы из звезд,
Нелюбим, кто одинок.
Озарили ночь сердца
Наши, бьются для дождя,
Дождь спускается, дитя.
Ветер – белый мой платок,
Я для любви живой глоток.
Ночи сотканы из звезд,
Нелюбим, кто одинок.

Слово с неба к нам пришло,
Слово с небом родилось.
Человек и есть пророк,
Слово дал ему сам Бог.

Сентябрь стал пахнуть
Осенней травой.
Гадалкою время
Пожухлой листвой
Нас всех раскидало.
Куда нам идти?
Так часто теряем
Друзей по пути.
В бурлении жизни
Сменился наш лик,
В забвении тени
Остаток велик.
То сном, то ли явью
Проходит так жизнь,
Не все успеваем,
С потерей – одни...
Сентябрь стал пахнуть
Осенней травой,
Нас всех раскидало
Пожухлой листвой.

Камнем станет боль воды,
Чтобы мир поведал тайны.
И душа вся из земли,
Вытекая, в вечность канет.

Поднимаясь в небеса,
Снова в землю, чтоб родиться,
Камнем станет вновь вода,
Чтобы жизнью насладиться.

Идет белый дождь,
Зима ли настала?
В пути дождь замерз,
И белым все стало.
Идет белый дождь,
Зима наступила!
Седая земля
Грехи всем простила.

Дождь все пишет на земле,
Вмиг все исчезает.
Время терпит все в себе,
В вечность превращает.
Дождь все пишет, мочи нет –
Есть о чем сказать.
Многоточие есть ответ –
Смысла не понять.

Может, зернами дождя
Мы в земле живем.
И, в мгновение уходя,
Лист земли прочтем.

Вращаются стрелки
небесных часов,
великое солнце встает
вновь и вновь.
Вращаются стрелки
ночи и дня,
Солнце есть время,
суть бытия.
Жизнь или смерть –
не всегда разберешь,
Где жизнь, там и смерть –
никогда не поймешь.
Вращаются стрелки
биеньем сердец,
Одна стрелка – жизнь,
другая есть смерть.

Так, на рассвете,
Упав со звезды,
В сердце попала
К тебе, как мечты.
Вспыхнула искрой,
Горела огнем,
Ты мучился жаждой –
Я стала водой.
Но к звездам, тоскуя,
Вернулась туда.
С небес я на землю
Смотрела опять.
И жизнь утекала
Водой, как всегда.
И ты на земле был,
Жила в небе я.
Столетье-река
Между нами лежит.
Звезда здесь угаснет,
А в небе горит.

Пусть завтра пройти не спешит,
Сегодня на миг пусть продлится.
Всевышний, прошу, подожди!
Дай вдоволь мне жизнью напиться.

Надежда – разрезанный плод,
Летит с ней душа наша в небо.
Есть на земле жизни долг –
Дорога, что тянется к Богу.

Пусть завтра опешит на миг,
Сегодня мгновеньем продлится.
Всевышний, прошу, подожди!
Дай вдоволь мне жизнью напиться.

Где же песня,
Нет и следа.
В глубине души ищу.
Безразличный ветер, бедный,
Одинок, а я ропщу.
Уронила слово тайной –
Ночью падает звезда,
И в спасительном сиянии
Вновь рождается душа.
Где же песня, нет и следа.
Сердце плачет, то поет...
Что же стало с ветром бедным:
Не спою я – он умрет.

Перевод с абхазского Алины Жиба

...

Я в горах под сердцем Бога,
Где такая благодать?!
В жилах кровь бурлит потоком,
До небес рукой подать!

Перейдешь гору – гора,
Где долина, где скала...
Я сюда сбегу когда-то
И останусь навсегда.

Время здесь не поспешает,
Вечность проживаешь год,
Солнце, коли тебе надо,
Не уйдет за горизонт.

Заберешься на вершину-
До небес рукой подать.
Я в горах под солнцем Бога,
Где такая благодать?!

Перевод с абхазского Людмилы Аргун



Родился в 1950 году. Прозаик, публицист. По профессии врач. В 2004 году за критические публикации в адрес классиков литературы исключен из Союза Писателей Азербайджана, членом которого являлся с 1987 года. 15 ноября 2006 года за публикацию эссе «Европа и мы» арестован и осужден на 3 года. По требованию мировой общественности освобожден от тюремного заключения 29 декабря 2007 году. Живет в Баку.

“Опера-балет”

Я собираюсь вытащить на свет Божий Ханифу, копошащегося в моем мозгу, подобно жирному червю. Сказал, и все: взять его из прошлого и запихнуть в маленький и тесный рассказ! В памяти-то моей он жил припеваючи, так пусть подышает в рассказе. Поделом ему. К тому же он все равно и пяти шагов сделать не успевает, как его широкий мясистый, точно у коровы, язык вываливается изо рта. Иссиня-черные губы придают ему устрашающий вид.

По-моему, поместить сюда лучше Ханифу в последний период его жизни. Пусть читатель не представляет себе его молодым. Пусть Ханифа пыхтит в рассказе так же, как в жизни, и надоедает моим читателям. Вот бы читатель прикрикнул на него: «Убери свой вонючий рот!». Рассказ будет полон углекислого газа, выделяемого легкими Ханифы. Чтобы понизить его уровень, я должен поместить в самом тексте и вне его зеленые деревья.

Ива. Чаще всего я встречал их на берегу Куры. Они выстраиваются вдоль арыков так, будто танцуют яллы. Листья тонкие и длинные – от светло-зеленого до темно-зеленого. Иногда плачут.

Я запланировал написать лишь слабый рассказ о Ханифе. Это филологическое самопокушение неизбежно. Хотя не может быть ничего труднее слабого письма. Тут надобен талант! Имитации слабого письма паясничанием не добьешься. Написанное действительно должно быть слабым. Слабый текст люди быстро забудут. Если этот рассказ будет забыт, Ханифа в нем отправится в тартарары: это для него наказание вроде оплеухи. В тексте я подам его как попало и отправлю туда, откуда нет возврата. И скатертью дорога.

Яблоня. Весной ее белоснежные цветы создают впечатление белого дня. По ее стволу вверх и вниз снуют муравьи. Мне почему-то жаль яблоневые сады, дающие обильный урожай.

Написать рассказ как статью или очерк. Может, тогда он получится слабым. Во всяком случае, рассуждая логически, статья либо очерк могут забыться сразу по прочтении. Это не оскорбление. Того требует сам жанр. До сих пор ни в одной статье или очерке я не видел претензии на вечность. Вы спросите, почему. Или возразите, что это не так. Но ведь и я кое-что разумею. И в особенности легко отличаю вечное от бренного. Я легко мог бы заполнить текст о Ханифе неинтересными деталями,

пустым изобразительным рядом. Мог бы превратить предложения в холостые патроны. Так, что ты, читатель, даже будучи семи пядей во лбу, ничего не запомнишь, устанешь и отбросишь мой рассказ в сторону. Или вообще в мусорное ведро отправишь. И этого «черномазого» вместе с ним. Вот, я уже приступил к рассказу о подонке, который из-за горсти-другой зерна, «найденного» в качестве улики в арбе моего деда, подставил его, сделал так, чтобы тот сгнил в советской тюрьме, свел его в могилу. Здесь я опускаю сцену, где тело моего деда Сулеймана привезли домой. Опускаю ради того, чтобы рассказ получился слабым. Горе мне, если рассказ получится сильным: ведь я собственноручно отведу убийце деда место в вечности. Ханифе понравилось бы жить в вечности даже отрицательным персонажем. Наверное, дед Сулейман укорительным взглядом из надмирных сфер пытается пробудить мою честь. Но если я все распишу, то эти места получатся сильными. Вот где таится опасность. Чего я хочу: пусть мой рассказ выйдет как можно более сухим. Важен схематизм. Все свои сильные сравнения и метафоры, гиперболы и прочее посылаю подальше, в одно место Ханифы. Нет, вы только гляньте – вот уже в который раз с уст моих слетают грязные слова, я не могу усмирить бурлящее в душе, душащее меня волнение. Нет-нет, если я распишу это, все, мне конец: мой рассказ превратится в величественное произведение.

Терн. Плод фиолетового цвета. При слове «терн» вспоминается скорее плод, нежели само дерево. Я всегда ставил его выше алычи. Будто терн пользуется бóльшим почетом. Я почему-то всегда уподоблял терн Ашугу Шакиру, а алычу Ашугу Панаху. Нигде больше не видел я такого терновника, как у покойной тети, в детстве.

Пыхтение Ханифы раздается из всех щелей моего рассказа. Но ничего, пусть пыхтит как можно сильнее – сие рассказу на пользу. Все равно мои деревья очистят воздух. Однако и Ханифа знал хорошие деньки! В тридцатые годы он одним выстрелом двух зайцев убивал, и лесничего на него не было. Да, у него еще усы были как у Сталина. И до самой отмены «культы личности» он ходил со «сталинскими усами». Затем носить такое под носом стало опасно, и Ханифа сбрил их начисто. После войны он, как и Сталин, уделял внимание культуре. Построил колхозный клуб. Поставил перед зданием сельской управы «заводские» памятники Ленину и Сталину. Когда Сталин со своей «свитой» посещал Большой Театр в Москве, Ханифа шел со своим «партактивом» в клуб. Верхи отражались в низах. Низы походили на верхи. Менялись

верхи – менялись и низы. А когда менялись низы, верхи оставались неизменными.

Деспоты садятся на культуру как мухи.

Да, И.Сталин любил Большой Театр, а Ханифа – «оперу-балет». Ханифа на протяжении всей своей жизни ни разу не употребил слово «театр» в сочетании с «оперой-балетом»; он даже не задумывался об этом. Ему всегда казалось, что «опера-балет» – одно, а «театр» – нечто совсем другое. Целый год он мог рассказывать на заседаниях правления колхоза, как однажды побывал в «опере-балете» в Баку. Он высококультурен – пусть люди не сомневаются. И именно поэтому он вправе поедом есть любого колхозника. Основной смысл «оперы-балета» для Ханифы заключался в изобилии участвующих в ней красоток. Гурии в раю ходят точно так же. Там ты вскипаешь, возбуждаешься и набрасываешься на сельских женщин. Если к своей жене он подходил словно к больной кошке, то на чужих налетал коршуном. Наконец, после 10-15 лет посещений «оперы-балета», Ханифа начал отличать оперу от балета. В опере еще и поют, а в балете только танцуют. В балете расхаживают чуть ли не голышом. Балет – это нечто вроде танца живота. Опера же не вызывает особого интереса, поскольку певцы там разодеты.

Тута. С белыми ясно, а вот черные оставляют кровавый след на ладонях. Густая листва создает прохладу во дворе. Шепот листвы похож на щебет птиц.

С тех пор как я с 1972 года появляюсь в селе, он вызывает меня к себе. Лопнет, если не вызовет. Он считает врача украшением своей жизни. Он сочинил длинные сказки о своих болезнях. Получает основную информацию о жизни и смерти от врачей. Эта информация призывает человека к мудрости. Ноги его не слушаются, и потому он потерял возможность слушать музыку в «опере-балете». Ест пищу только в виде кашицы. Да, таков пыхтящий период его жизни. Легкие его сжимаются и разжимаются, как кузнечные меха. Воздух в комнате всегда тяжелый от его дыхания.

Все, что касалось состояния его здоровья, я делал механически, считая сострадание к нему излишним. Но, к сожалению, и механическое исполнение обязанностей влияло на его состояние. Он словно забыл, что способствовал аресту моего деда Сулеймана. Или же думает, что я этого не знаю. Кажется, будто мой дед с неизвестным мне ликом, от которого «стараниями» нас обоих не осталось ни одной фотографии, и вовсе не ходил по этой земле. Отсутствие во мне сострадания вызы-

вало подозрение у Ханифы. Ему так и хотелось рассмешить меня. Он готов был чуть ли не щекотать меня. Он считает годы, проведенные им на хребте народа, лучшей порой своей жизни. Нет, медицина влечет меня к неуместному гуманизму. Разве нужен здесь гуманизм? Кто же станет с интересом слушать рассказы чудища, волей которого его дед был стерт с лица земли, о том, как оно ходит «по большому», «по маленькому»? Порой он дает врачу приказы, указания, точно находится на заседаниях правления колхоза. Нет, и я не лыком шит: я как следует мстил за деда – обследовал Ханифу механически, сухо. Да что поделаться, применение медицинских средств даже без милосердия приводило к улучшению, поправляло его здоровье на моих глазах.

Черешня. В нашем селе были две прекрасные молодые женщины, носившие имя Гилас . Они и вправду были одна краше другой. Листья черешни размером с воробышка. Тем не менее, они тоже поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

...В один славный денек я отправился в Театр Оперы и Балета. Перед кассой мне вспомнился давно померший Ханифа. Как так? И он покупал здесь билеты? Я поспешно удалился от страшной кассы и прошел внутрь. Но разве можно было усидеть в зале, где некогда сидел Ханифа? Я выбежал наружу.

В подробности не вдаюсь. Пусть мой рассказ получится слабым. Слава Богу, кажется, так и выходит. Ну, вы и сами уловили, что сюжет довольно-таки банален. В тысячах книг миллиарды подобных фактов. Мои добавления к истории диктатуры, по сути, излишни. Цель, в лучшем случае, – извлечь Ханифу из памяти на свет Божий и вновь ввергнуть в ад, заключив в слабый текст. Я добился желаемого. Его вторая смерть была бы интереснее и полезнее. Что и случилось. К сожалению, на этом месте я и сам расстаюсь со своим рассказом. Я покусился на него филологически. Изувечил рассказ ради того, чтобы еще раз «убить» Ханифу. Хотя я и поместил в нем и за его пределами деревья. Деревья сведут на нет «пыхтение» в моем рассказе.

16 августа 1987 – 13 ноября 2003

Игорь Железов уже имеет одну «ходку». Смягчился. Теперь он как воск. Обжегшись на молоке, на воду дует. Прежние его повадки и нынешние – небо и земля. Больше не выпендривается. От былой революционности осталась лишь бытовая критика.

Да разве стал бы врач сшибаться лбами с Леонидом Ильичем – с великим Брежневым?

Росту он высокого, потолок головой задевает. Говорит: «Я должен уйти из «скорой помощи». В этих низких «хрущевках», придуманных низкими людьми, невозможно посещать больных. Московские дома должны быть снесены и отстроены заново, и все. Неоднократно он задевал головой лампы; едва не обжигая лицо. Потолки тюремных камер, в которых он сидел, выше, чем в этих квартирах. Да и с архитектурной точки зрения гораздо лучше.

Игорь задевает в основном рабочих-строителей. Просто житья им не дает. Никто – начиная архитектором и заканчивая штукатуром – не способен спастись от него. Хотя его мнение, в лучшем случае, – составная часть общественного мнения. Оно не особо влияет на принцип демократической централизации в стране; то есть не влияет вовсе. Критика и давление движутся лишь сверху вниз. Критика снизу вверх обуславливает насилие, аресты. Драматизм в такой критике силен. Ее могли бы сопровождать трагические симфонии Бетховена.

И.Железов только и делает, что находит изъяны в новых домах. Через слово называет их «спичечными коробками». По его мнению, «долгостройки» только подчеркивают упадок страны. Порой он стоит на углу, уткнувшись носом в стену, и смотрит, сощурив глаз. Смотрит, прямо ли построено здание. Он собирается выступить в печати со статьей о кривых зданиях.

«У долговязого весь ум в пятках», – смеются, глядя на него, прохожие. Да, Игорь Железов обнаружил много таких домов в Москве. Он никоим образом не ставит свои «открытия» ниже открытий научно-исследовательских институтов. Примененные на практике, они могут дать конкретные положительные результаты. Отвлеченные, абстрактные вещи – не для него. У него и план есть: если хватит жизни, разобраться со всей Москвой. Нельзя смиряться с кривизной этого города! Не шутка ведь – в Москве родился Александр Пушкин! Я обязан, говорит он, выявить ложь высокомерных архитекторов. Найти закавыку в исторических зданиях, оповестить весь мир о фальши в архитектуре.

Однажды со складным «метром» в руках он измерял длину и ширину непропорционального здания, делая пометки в блокноте. То и дело за-

дирал голову и смотрел вверх. Жаль, высоту не измеришь. Высота – прерогатива небес. Высота подвластна лишь государству. Государство могло бы подставить ему подножку в лице министерства строительства. Ладно, что уж тут поделаешь, изъяны на высоте все равно не особенно влияют на человеческую жизнь.

– Делать тебе нечего, кроме как здания измерять?

– А что, тебе больше делать нечего, кроме как спрашивать об этом?

Вот его диалог с местным аксакалом.

Не будешь цветы и деревья поливать – сад высохнет. «Если дома строятся криво, и Родина загнется», – говорит Игорь.

Как-то в солнечный морозный день он вместе со своим старинным приятелем, врачом, приехавшим из Костромы на «курсы повышения квалификации», отправился в музей. Игорь признает свою неопытность по части музеев. Но первый «изъян» Пушкинского он уловил, еще издали.

– Тень по утрам падает в реку.

– Ну и что? – удивленно взглянул на него друг.

– Музеи должны строиться так, чтобы тени от них не достигали реки.

– Но почему?

– Тень может впитать воду из реки. Картины могут отсыреть.

Друг из Костромы удивленно заморгал глазами. Встав перед музеем Пушкина, Игорь долго рассматривал его слева направо, справа налево, снизу вверх. Кажется, делал про себя подсчеты. Но ничего пока не сказал и, покачивая головой, стал подниматься по ступенькам. Внутри он был шокирован: стены ослепительны, бьющее с портретов сияние освещает лица. Эх, подойти бы критически к этому сиянию! Привычка не оставляла его в покое, но язык в ход он еще не пускал. В данный момент этот музей заслуживает критики потому, что убивает в нем критический дух. Ну погоди. Одним-двумя залами дело не закончится. До конца усвоить эстетику этого места. Его взгляды обязательно должны столкнуться со здешней эстетикой. Музейный классицизм не выстоит перед его нигилизмом. Его вкусы – вкусы врача – сформированы вне музейной эстетики. Он довольствуется тем, что есть. Больных в жизни он повидал больше, чем здоровых. Повидал немало мертвецов, хоть и меньше, чем живых. А мертвецы, даже если прежде и были специалистами по эстетике, очень далеки от эстетического мира. Вдобавок самый святой мертвец уже негигиеничен, и это его состояние усиливается ежеминутно. Именно по этой причине его быстренько закапывают в землю. Уважение и прочее – миф, мертвец фактически культурным образом изгоняется из семьи, общества.

В одном из залов они случайно набрали на Микеланджело. Вот это другое дело! Микеланджело как объект критики – интересная находка. Для Игоря Железова переход от существующей политической ситуации в сферу культуры неизбежен, и сейчас для этого возник подходящий случай. Критический взгляд на всякое историческое и культурное событие со временем выглядит более безопасным. Временная протяженность и жесткость критики прямо пропорциональны. Чем больше проходит времени, тем сильнее критика. Он считает этот закон своим открытием. Поскольку пока еще время Брежнева, размах критики Брежнева должен быть на минимальном уровне. Можно, и даже предпочтительно, спуститься на минусовой уровень – до уровня похвал. Того требовал объективный закон, его находка. Однако Игорь пошел против этого объективного закона, допустив тактические ошибки. Его арест был необходимостью. Конечно же, нарушение общественно-объективных законов делает аресты неизбежными. Экспонат работы Микеланджело был гигантской скульптурой, изображающей мужчину. Для начала Игорь принялся проверять, правильно ли написано имя автора. Критика была совсем близко. «Микеланджело Буонарроти» – нет, здесь ошибок нет. Да здравствует Пушкинский музей! Но зритель рядом с этим монументом похож на карлика. Насколько правильно воплощать человека в скульптуре больше его натуральной величины? Разве это не кощунство? Вот, отчетливо видны части его тела. Их можно назвать поименно. Хотя познания Микеланджело в этой сфере могут вызвать удивление лишь у малограмотного зрителя. В них нет ничего удивительного. В произведении главную роль сыграли примитивные анатомические знания, а не творческий размах. Правильней было бы назвать Микеланджело не творцом, а, образно говоря, анатомом. Однако он ошибся, применив знания анатома в скульпторском искусстве. Лишь дебилы могут изумиться анатомическим манипуляциям скульптора. Соответствие частей тела в художественном произведении природной данности не имеет никакого значения. Историческая память и жажда освящения свойственны наивным. Изучение истории свойственно толпе. Сверхчеловек не заикливается на исторических фактах. При надобности он вообще не считается с историей.

– Ого, я нашел главную ошибку Микеланджело! – Игорь радостно закричал, и все повернулись к нему если не телом, то головами.

– У мужчин левое яичко ниже правого! А у него наоборот!

– Художественное произведение – это тебе не наглядное пособие по анатомии, – толкнул его локтем друг. – Замолчи. Т-с-с-с.

– Ладно, но почему тогда все остальные части тела изображены верно? Почему только яички в художественном произведении должны быть искажены?!

– Здесь функция яичек состоит в том, чтобы показать, что это мужчина. Вот и все.

– Но разве не мог он их изобразить правильно?

– И что теперь? Казнить Микеланджело? Или уголовное дело на него завести?

– Реалистическое произведение должно соответствовать реальности. Микеланджело в этом произведении – пятно на реализме.

– Вот тебе раз! Ну ты даешь.

– Ну почему правое яичко ниже, когда ниже должно быть левое? Объясни мне! Или и это имеет художественное значение?

– Это могло быть случайной ошибкой.

– А я о чем с самого начала твержу? Я обнаружил ошибку пятисотлетней давности!

– Успокойся, мы включим твою находку в Книгу рекордов Гиннесса. А теперь пошли.

Для Микеланджело непростительна даже малейшая ошибка. Если у творца не спрашивают за гиперболы, фантастические выдумки, то механическая ошибка считается более чем проколом. Механическая ошибка говорит также о безграмотности. Однако все, что рождено фантазией, является воплощением таланта. Ошибка Микеланджело могла также работать против развитого социализма. Правое яичко, изображенное ниже левого, могло также свергнуть социалистический режим в отдельно взятой стране. Минимальное количество подобных ошибок в художественном произведении двигало бы социализм вперед. Размещение же в Пушкинском музее фигуры с правым яичком ниже левого может также расцениваться как демократизм, положительное явление в обществе. Это – свидетельство того, что в обществе есть место как отрицательным явлениям, так и альтернативе. А социализм должен строиться на нетерпимости к альтернативе. Общество, допускающее альтернативу, постепенно придет в упадок. Неверное отображение яичек в мужской фигуре Микеланджело способно дать толчок свержению социализма. Эта скульптура вредна стране. Интересно, почему эту ошибку никто не заметил. И в особенности врачи. Неужели они ходили по залам музея, глядя в потолок? С раскрытыми ртами? Ужас. Это показатель того, что на протяжении столетий во всем мире не появлялось ни одного дельного врача. Либо ни один дельный врач не видел эту скульптуру. Ее видели лишь тупые врачи. Или же ошибка пятисот лет

оставалась тайной, для того чтобы засиять счастливой звездой в жизни Игоря Железова? Точно, ошибка Микеланджело ждала Игоря. Ошибка, точнее обнаружение ошибки, было ему предначертано. С обнаружением этой ошибки человечество сделает сильный скачок вперед. Отныне и впредь Микеланджело не станет «распространять» неверное мнение о мужских яичках. Все, точка.

Друг взял Игоря Железова под руку и повел домой. У обоих раскраснелись лица. Чего и следовало ожидать.

апрель 1988 – октябрь 2003

Перевод с азербайджанского Ниджата Мамедова



Т
амерлан Тадтаев

Родился в 1966 году. Автор трех книг, активно публикуется в литературных периодических изданиях. Участник форумов молодых кавказских писателей и молодых писателей России (2008, 2009). Лауреат «Русской премии» (2008). Премирован журналом «Нева» за лучшую публикацию 2008 года. Живет в Цхинвале.

Я перекинул с компьютера на дискету несколько своих рассказов и призадумался. Чтоб их распечатать, нужно сходить в интернет-клуб, а в кармане ни гроша. Матушкина пенсия давно профукана, а своих денег у меня уже давно не было. Может, у отца попросить? Но в прошлый раз, когда я просто намекнул ему о своем безденежье, старик пришел в ярость.

– Пусть тебе заплатят те, за кого ты воевал! – орал он. – А на меня больше не рассчитывай! Ты давно уже не мальчик, тебе сорок лет! Подумай над этим! В твои годы я содержал не одну нашу семью!

– Значит, у тебя были любовницы, старый хрыч, а сейчас святым прикидываешься?

– Твое какое дело? Не на твои же деньги я покупал им тряпки и косметику! А теперь проваливай, ко мне должна знакомая зайти.

– А у нее нет молодой подружки?

– Ах, вот ты как? Издеваться надо мной вздумал, щенок?!

Старик схватил палку. Я не стал медлить и выбежал во двор. Оказавшись за воротами, я услышал сзади тяжелое дыхание и побежал вверх по Гизельской трассе. Папаша гнался за мной, и я спиной почувствовал, сколько в нем еще силы.

– Я ведь Родину защищал! – оправдывался я, улепетывая и уклоняясь от сыпавшихся на меня ударов.

– Лучше б ты подох на войне! Меньше было бы забот! Ты для всех обуза!

– Я был контужен! Я был ранен, в конце-то концов, причем не однажды!

– Будь ты проклят дважды! Вот тебе мое родительское благословение!

– Спасибо за благословение, но ты мне больше не отец...

Я почесал спину и оглядел убогую комнатуху, которую снимала моя бывшая жена, вернее ее хахаль. Из мебели тут был покосившийся стол – на нем старый компьютер – и поломанный стул. Спал я на полу. Говорят, спать на твердом полезно, но я так не думаю. Недавно ко мне залез вор, вероятно по ошибке, и оставил на столе сто долларов. Правда, деньги оказались фальшивыми, но, кажется, этот добрый человек сам не знал об этом. Хоть бы он еще раз ошибся. Я даже двери перестал закрывать, чтоб братве легче было зайти и раскошелиться. Но вместо криминала в комнату вошел муж хозяйки квартиры. Это был крепко сбитый сорокалетний мужик с небритым лицом. Он сверкнул белыми зубами и предложил мне без вонь освободить помещение. Я сказал

ему, что любовник моей жены по ошибке попал в тюрьму, но скоро выйдет и заплатит.

– У него прекрасный адвокат, – сказал я. – И минимум через год он снова окажется на свободе.

– Знаю, знаю, о ком ты говоришь, – догадался муж хозяйки. – Если этого маньяка оправдают, тогда я сам его замочу.

Он схватил меня за шкурку и поволок к двери.

– Ну хорошо, – смирился я. – Дайте мне хоть компьютер забрать.

– Компьютер останется в счет долга.

– А на чем я буду печатать?!

Он сказал на чем.

– Я бы выдал тебе глаза, будь у меня на руках пальцы.

– А что, у тебя нет пальцев? – удивился он.

– Нет, как видишь. Я потерял их на войне. В каждом бою я терял по пальцу. После этого я стал отчаянным, потому что нечего было терять.

– Плевать я хотел на твоё отчаяние и на твою войну; мне интересно, как ты печатал?

– Тукал по клавишам языком, но могу и носом...

– Ах ты извращенец! Вот почему моя жена не хотела, чтоб ты съехал отсюда!

И он спустил меня с лестницы. Теперь я стал бомжем и не знал что делать. Было жутко холодно. Небо казалось свинцовым, а земля так замерзла, что невольно вспоминался ледниковый период. Я боялся, что отморожу себе нос, и он отвалится, как у сифилитика. Пренеприятнейшая вещь, должно быть. Я оглянулся по сторонам: жизнь бурлила вокруг.

Я пялился на девушек, гулко стучащих по асфальту тонкими каблучками сапожков. «Как они прекрасны! – думал я, оглядываясь на них. – С каким достоинством они несут соблазнительную заднюю часть своего тела и как упруги на вид их ягодичы, обтянутые потертыми джинсами». Я вспомнил дискету с рассказами. Да, надо срочно распечатать их, сдать в журнал и прославиться. Но где и как? Я вспомнил Алана, моего приятеля, с которым однажды зашел в какой-то офис, где работала его знакомая. Ее звали Диана. Она распечатала тогда мою первую пробу пера, и я тут же влюбился в нее. Любовь с первого взгляда. Кто не верит в нее, пусть обратится ко мне, и я объясню, как это бывает. Но кто я такой, чтоб любить такую красавицу, как Диана? Во время войны я нужен, а сейчас – никто. Ах, как это унижает. Кстати, офис недалеко, можно зайти и попросить Диану, если, конечно, она вспомнит меня. Надежды на это мало, но стоит попробовать. К тому же у меня нет дру-

гого выхода.

Я проходил мимо базара. Тут всегда многолюдно. Мне кажется, что люди ничем не отличаются от диких зверей. Толпятся там, где пахнет жратвой. Но у зверей законы намного справедливей. К примеру, волк не прикидывается овцой, и наоборот. Бобры строят плотину без всякого жульничества. В лесу ли, в джунглях зверье чувствует, кто укусит, а кто сожрет. А у нас на всех смотришь с опаской, не зная, кто проглотит – чтоб он подавился, а кто укусит – чтоб без зубов остался, гадина. Но больней всего, как правило, жальт самые близкие люди. И еще у животных нет этих проклятых денег. Нищие, сидящие на тротуаре с протянутыми руками, будто примерзли задницами к асфальту. Ну чем не воронье, ждущее от хищников милости? Я старался не смотреть на них. Простите, господа нищие, я не богач, но, возможно, вам подадут, а мне нет. А знаете почему? Да потому что у меня нет пальцев. А при чем тут пальцы? Должно быть, мозги замерзли, раз в голове такая муть.

Перейдя дорогу, я оказался у «Копейки». Здесь за гроши можно было купить заморские шмотки, правда не первой свежести. Окна секонд-хенда вспотели от алчного дыхания покупательниц. Из магазина слышался женский визг. Красавицы дрались из-за поношенных тряпок. Я прошел мимо «Копейки», поднялся по лестнице и долго топтался у входа в офис, набираясь смелости, вернее наглости. А вдруг Диана пошлет меня куда подальше? Ну что ж, пойду тогда на базар и протяну беспалую руку. Зная наперед, что никто не подаст? Боже, как мне стыдно. Вспомнил, как на войне однажды мы хотели устроить засаду и сами нарывались на неприятеля, притаившегося в колючих зарослях ежевики. Уму непостижимо, как грузины не изрешетили нас с такого близкого расстояния. Зато мы закидали гранатами трепетавшие от стрельбы кусты и благополучно вернулись обратно. Сюрприз, так сказать. Но почему я вспомнил об этом? Да потому что сердце у меня тогда готово было выпрыгнуть из груди. Как сейчас? Вот именно. Но не на смерть же я иду; мне нужна всего лишь распечатка. Да, но ты неровно дышишь, когда рядом эта женщина.

Мимо проходили люди. Они с удивлением смотрели на меня. Еще подумают, что я террорист. Я открыл тяжелую железную дверь и вошел в офис. Охранники из-за окна своей каморки щупали меня взглядами. Что вылупились? Нет у меня бомбы! Я прошел узкий коридор и свернул налево. Кажется, вот эта белая дверь, гм... тоже из железа. Люди в последнее время стали пугливы. Железный занавес рухнул и разлетелся на множество мелких дверей, за которыми спрятались бывшие граждане могучего СССР. С плоских жидкокристаллических экранов

на нас обрушили столько жуткой информации, что я нередко удивлялся тому, как мы еще не спятили. А может, мы уже безумны, но просто не знаем об этом? Порой мне кажется, что мы живем в мрачном средневековье. Скоро люди начнут копать рвы вокруг своих домов и наполнят их водой. Оденутся в латы и будут смотреть на мир сквозь забрала своих шлемов. Эй! Кто вас напугал? Чего вы так боитесь?!

Помещение, где работала Диана, напомнило мне кабинет в школе: офисная мебель, на столах компьютеры, у стен шкафы. Из зарешеченных окон справа, сквозь выбросы «Электроцинка», пробивался свинцовый свет. Диана сидела за одним из столов и, поглядывая на монитор, стучала по клавишам. Я подошел к ней на ватных ногах и, поздоровавшись, начал что-то бубнить про Алана.

– Ах да, Кутя, – сказала она голосом, от которого я таял. – Как он, кстати? В каких местах обитает?

– Он в Лондоне, а я вот дискету принес. Может, распечатаете?

Я украдкой взглянул на ее красивые губы, которые улыбнулись мне.

– Ну, конечно, распечатаю, – сказала она. – Где дискета?

Из офиса я выходил с распечатанными рассказами в файле. Я был по уху влюблен в Диану (второе ухо мне отстрелили). Но теперь я был крепко уверен в одном: ради нее я покорю весь этот сраный мир, как бы он ни оборонялся от меня.

ЛЕДИ В БЕЛОМ

Леди в белом горда и неприступна, леди в белом горда и неприступна... Да, ты красива – я жизнью потрепан изрядно. Ну вот опять морщишь носик, отворачиваешься, а я всего лишь хотел пригласить тебя в кино, но ты ждешь принца на корабле с алыми парусами... И совершенно напрасно, детка, коль слухи не врут, его высочество – гей и любит крепких парней. И тебе, такой шикарной, придется смириться с этим и, взявшись за мою в шрамах от акульих зубов руку, пройти вдоль Амазонки... Осторожно, милая, ты чуть не наступила на крокодила... Постой, я сдеру с него шкуру и сошью тебе куртку с брюками, чтобы в лихую погоду на харлее тебе было хоть немного комфортно за мной.

Плененный тобой, я иду по холодной Москве или, запаренный, мчусь в поезде метро вместе с моргающими манекенами мимо станций с советскими названиями, а вечером, выбившись из сил, шепчу твое имя под одеялом. А ты бродишь с фотоаппаратом по заброшенным санаториям и снимаешь остатки былого, в ужасе убегая от призраков коммунизма. Домой ты возвращаешься поздно и после душа залезаешь в постель и зовешь меня в свои сны...

ГОСПОЖА ПЕВИЦА

От вашей песни, госпожа певица, я в экстазе, несмотря на осень, жуткую погоду и приятеля, обещавшего дать взаймы. Угадайте, госпожа певица, что я делаю перед зеркалом? Танцую в наушниках, да и черт бы побрал друга с его деньгами! Одно меня огорчает, госпожа певица: вы поете на английском, а я не знаю этого чудесного языка, но обещаю завтра же засесть за учебник, чтобы понять, о чем Ваша прекрасная песня. Однако уже вечер, а приятеля все нет, и денег тоже...



Родилась в 1978 году в Цхинвале. Активно публикуется в печатных изданиях Северного Кавказа, постоянный автор журнала «Дарьял». С 2009 года участник совещаний молодых писателей Северного Кавказа и форума молодых писателей России, организованных Фондом интеллектуальных программ С.А. Филатова. Работает в газете «Владикавказ». Живет во Владикавказе.

Бабочка

В детстве, до восьмого класса, я жил на даче у бабушки. Мои родители были слишком заняты устройством своего быта, учились и работали, поэтому я был им обузой, и они с радостью и благодарностью восприняли предложение моей бабушки взять меня к себе. К тому же в нашем пригороде имелась школа и поликлиника. Пока старый отцовский «жук» не приказал долго жить, мама с папой частенько приезжали на выходные, потом это стало проблематичнее, и я не видел их месяцами. Это воспитало во мне определенную независимость, ибо бабушка моя была человеком добрым и ненавязчивым, она верила в мое благоразумие и бесконечно доверяла мне. Да и я не подводил, я умел совсем не по-детски скрывать свои чувства и казаться мальчиком, излучающим целомудрие и невинность. Естественно, покидая домовладение моей бабушки, я соединялся с орущей, щедрой на пакостные шалости, оравой других мальчишек и отдавался той неумемной энергии, которая царствует в детстве.

Когда мне было 10 лет, со мной произошло нечто переломное, судьбоносное. Это был июль. Разгар лета. Модной забавой моих товарищей тогда была биология, живая природа с ее многочисленными обитателями. Они, а с ними и я, препарировали всякую одушевленную тварь во имя познания, науки, словом, во имя благих целей... никак не меньше. Лозунг «Хочу все знать!» властвовал нами безраздельно. Однако он обретал у нас довольно жестокую форму. Был создан даже план, список жертв. Он начинался с насекомых и заканчивался такими гигантами, как жабы или даже кошки. И вот в начале этих исследований мой жизненный путь и определился. И на мой выбор оказали свое весомое влияние совсем невесомые, почти эфемерные, создания – бабочки... Я обожал их. Но они были первыми в списке на уничтожение, и мне приходилось, кусая губы, смотреть на то, как другие мальчишки гонялись за ними с сачком, затем доставали их из-под прозрачной сетки и потными цепкими пальцами еще живых, трепыхающихся, помещали в заранее заготовленные стеклянные банки с жестяными крышками. Эти малютки бились там о прозрачные стенки своими истертыми, поблекшими, ободранными крылышками и затем гибли. Некоторые мои товарищи разнообразили эксперимент – они аккуратно распластывали их между страницами старых книг или журналов, делая живые гербарии, через какое-то время от бабочек оставались лишь бурые пятна и горсточка праха... Мое обожание, смешанное с жалостью, болью, от этих зверств только росло... А заодно и ожидание некоего чуда, которое я предчувствовал так остро, что волосы шевелились на голове...

Я никогда не говорил ни единого слова в защиту этих невинных созданий, я молчал, мне было больно, но я молчал, мучительно ожидая, и дослеживал все эти мерзкие шалости до конца. Я надеялся, что скоро им надоест гоняться за бабочками, и они все станут... моими. Это был мой самый главный секрет. Моя главная тайна.

Как я и думал, к августу увлечение бабочками у детворы бесследно прошло. У соседской Наташки мама работала медсестрой в поликлинике. Наташка тырила у нее старые шприцы и иголки, а ребята тащили к ней в ванную свежевывловленных мух или слепней и под общий гул радости и восхищения крылатые пациенты раздувались от вводимой внутрь воды и пополняли собой тот злосчастный список жертв, о котором я рассказывал выше. Таких забав нарождалось в неутомимых умах множество... Но мне, наконец, представилась возможность в одиночку бегать на луг, нырять в высокую траву и часами наблюдать за белыми, голубыми, красными, черными... моими бабочками. Я вбирал в себя каждый прожитый день, как сладкий нектар, как что-то таинственно-восхитительное. Я был тогда очень счастлив.

После художественного училища родители пристроили меня к Якову Семеновичу Сандлеру. Это был заслуженный деятель искусств, художник с мировым именем. Старичок он был невредный, да к тому же дышал на ладан, еле передвигая по огромной своей квартире-мастерской ноги, пораженные ревматоидным артритом. Я буквально жил у него: бегал в магазин, убирал, выносил мусор, мыл посуду, стирал и еще смешивал краски и мыл кисти. В награду за мои труды Яков Семеныч выделил мне скромный уголок, где я мог работать, пока был не нужен ему, и это было замечательно, потому что своей мастерской у меня не было и быть не могло в силу моего скромного финансового положения. Родители тоже были довольны – я не висел ярмом на их шее и был представляем ими как протеже мировой знаменитости со связями, да к тому же моя дружба с этим «милым старичком», как говорила мама, могла открыть для меня большие перспективы. Но я, в отличие от моих восторженно-наивных родителей, шел в своих меркантильных интересах еще дальше. Я рассчитывал, да, именно рассчитывал, что старик оставит мне в наследство (так как ничего и никого, кроме многочисленных регалий и этой мастерской, он в жизни не нажил, а работы продавать отказывался, называя их своими детками) это божественное, великолепное помещение метражом 14x10 кв. м со стеклянным потолком, сквозь который солнечные лучи заливали пространство и царствовали в нем до самых сумерек, и я поселюсь в нем, когда Яков отдаст Богу свою незапятнан-

ную жаждой наживы творческую душу. Отмучившись и передав-таки в дар местному и другим музеям и галереям свои знаменитые полотна, Яков ушел в мир иной, и мои мытарства не оказались напрасными. Я стал молодым, перспективным (на радость родителям!) художником с царским наследством – мастерской 14x10 в мансарде старого элитного особняка на одной из центральных улиц. Я развернул кипучую деятельность, я не собирался быть голодным художником, пример покойного Якова не слишком сильно меня вдохновлял... и даже его почти сакральную фразу «Помни, если ты займешься коммерцией, художником тебе не быть!..» я с легкостью выкинул из головы. Мне было 22 года, и я надеялся еще успеть заняться великим искусством.

Я изучил рынок. Хорошо распродавались городские, дышащие умиротворением, пейзажики, обнаженная натура никогда не падала в цене, иногда даже удавалось подергать в своих целях за невидимые нити великих мастеров ню, таких как Модильяни или Гоген. Мало кто из отдыхающих нашего курортного городка вдавался в тонкости и чуял подвох... их просто цепляло за живое, это был испытанный прием. Кроме того, я выходил на набережную и вечерами набрасывал графические портреты залетных красавиц и красавцев. Всем хотелось одного – быть красивее, чем их создала природа. Для этого достаточно было одной мало-мальски выдающейся черты лица, которую надо было сделать еще ярче.

Так прошло очень много лет, я был типичным коммерсантом, меня любили чаще, чем ненавидели, я был дорогим гостем всех питейных заведений, пользовался успехом у местной богемы. Но ядовитые щупальца какого-то монстра все чаще подкрадывались ко мне, преимущественно ночами, когда я отдыхал от трудов своих, раскачиваясь в гамаке. Этот монстр душил и давил... он жил внутри меня, он ныл где-то в боку и чего-то требовал, и я даже знал, чего. То, что я бесконечно откладывал на потом, все явственней выходило на поверхность, как кислота, и эта кислота пенилась и язвила мое самолюбие, самоуважение и Бог весть какое еще «само»... Однажды я решился. Я забросил свою привычную деятельность, объявил всем, в том числе родителям, о своем отъезде, отключил телефон и решил попытаться стать тем, кем хотел, и, как мне казалось, мог.

Естественно, тогда-то на первый план и выплыла, вернее, выпорхнула откуда-то из глубины памяти моя давняя любимица. Она беззвучно порхала передо мной и во сне, и наяву, требуя выхода, моля об освобождении. Несколько дней я только слушал музыку и пил, потом продумывал, как я буду действовать. За время своей практики я овладел

едва ли не всеми техниками живописи – от пастели до масла. Конечно, предпочитал в основном акварель, она завораживала, я обожал ее полупрозрачность, легкость, то свободное пространство, которое она оставляла для мельчайших оттенков цвета. Однако когда я приступил, дело не пошло... Дело! Это меня и губило, за длительное время я научился говорить с Музой, а может, я с самого начала не умел этого. Тогда, в детстве, на поле, когда я наблюдал за живыми бабочками и тем, как волнообразно колышутся зеленые травы, я был больше художником, чем сейчас... Мне было больно и страшно, что я не справлюсь. Я задумал сотворить лучшую бабочку. Лучшую из всех писанных, лучшую из живых. Я сделал сотни эскизов, я переводил немыслимое количество краски. И в разгар раздражения меня выводило из себя все: акварель была слишком текучей, гуашь или масло утяжеляли тонкие узорчатые крылья, пастель не годилась вовсе. Я перепробовал все. Я работал даже ночью, чего раньше никогда не случалось, потому что для работы художника подходит лишь дневное освещение. Как иступленный, я заканчивал одну работу и начинал другую, рвал холсты и бумагу, мучился бессонницей, мало ел, не мылся и не брился. Я представлял собой человека, которому изменил рассудок.

В какой-то момент силы покинули меня. Неспособный воссоздать свою грезу, мечту, я погибал, словно какой-то невидимый упырь медленно лишал меня животворящих соков. Я лежал, распластанный, практически распявший сам себя за несостоятельность, на заляпанном краской сосновом паркете и с дикой улыбкой пялился в небытие. Я сдался. Я просто пал в бою. Как солдат с винтовкой в руке, не выполнивший приказ командира. Не знаю, как долго я лежал без чувств и мыслей...

Мне казалось, что ночь не кончалась или не начиналась... Но в какое-то мгновение ярко разгорающейся падающей звездой в моем сознании мелькнула удивительная мысль. «Я никогда не спрашивал у нее, чего она хочет, я пытался заставить ее жить по своим правилам...» Я, должно быть, что-то нащупал, потому что откуда-то вдруг взялись силы встать, схватить черствый сухарь и плеснуть себе какой-то заплесневелой жидкости в стакан. Лихорадочно жуя, я продолжал думать. «Она немая...ну, конечно же... это же бабочка...» И тут я ощутил всю ее нежность...она захватила меня целиком, обласкала... Это было глубокое эротическое ощущение. Словно подвешенный в воздухе, я двигался по комнате. Я понял, та, кого я хочу изобразить, стесняется обнажиться передо мной при свете. Она, как нежнейшая любовница, хочет соединиться со мной в темноте. И все было на ее стороне. Даже небо в ту ночь было до черноты стянуто, словно запахнуто в темную шаль. Со-

мнамбулически я ходил туда-сюда. Затем я открыл морозильник и выковырял оттуда снег в плоску, по дороге я сорвал цветущие растения, растер лепестки в ладонях и бросил в ту же плоску, потом зачем-то разрезал руку, словно исполняя какой-то жреческий ритуал. Я ощутил, как кровь тоненькой струйкой просачивается в льдинки. В довершение этого магического акта я кинул в плоску какие-то специи, взял лист бумаги, прикрепил его к доске, сгреб в охапку все свои кисти и опустился на пол. Я буквально на ощупь нацарапал эскиз на листе. Потом долго изучал его руками, все изгибы, все узоры пролетали перед моим мысленным взором. И я приступил. Увлажняя палитру этой жижей из плоски, я накладывал мазки, потом ждал какое-то время и наносил новые слои. То, что я делал, было безумством. Невозможно в принципе писать картины в темноте. Но я верил, что это было единственным, что можно сделать, чтобы я не тронулся умом. Я был даже уверен. Ночь будто вошла в сговор с моей Музой, она не кончалась...Наступление утра приостановили, я должен был успеть...но силы мои были на исходе. Я был истощен и вот-вот выдохся бы окончательно. Так и вышло. В какой-то момент я просто отключился от происходящего.

3.

Утром я обнаружил самого себя в неестественно скрюченной позе на полу. Хвойный запах паркета вызвал раздражение в носу, я громко чихнул и проснулся окончательно. Вставая, я задел головой доску с рисунком, которую успел прислонить к стулу. Именно это вернуло меня к реальности. От удара она отскочил в сторону, я сразу отрезвел: там был изображен мой ночной безумный акт творения. Я осторожно подошел к доске и стал смотреть, отчаянно сжимая-разжимая веки, я тер глаза и щипал свои щеки ... на нем ничего не было – он только белел чистой, он был совершенно пуст! – Неужели же только сон?! – ужаснулся я. После тщательного осмотра я не обнаружил на листе и малейшего следа от моего мучительного ночного творчества. Я решил, что сошел с ума. Настолько реален был процесс, что мне никак не верилось в эту очевидность.

Я был подавлен и разбит. Первый раз в жизни мне захотелось рыдать в голос. Моей бабочки не существовало!.. Я с силой прижал ладони к лицу, ожесточенно затрясся... и вдруг... почувствовал тонкий аромат! Нереальные сочетания и вместе с тем такие реальные. Гранатово-кофейный, пряный, но ненавязчивый и нежный аромат... Потом я ощутил трепет ее крыльев. Я осторожно открыл глаза – она порхала перед моим лицом и обдувала его легонько и ласково. Она гладила меня сво-

ими чудесными крыльями, словно целовала. Моя ненаглядная БАБОЧКА. Живая и прекрасная. Видели бы вы ее крылья! Она была высшим существом. Я стал дышать иначе, когда мы встретились. Я сотворил жизнь. Я стал Творцом.

За окном лил майский дождь, и мы проживали свой очередной счастливый день. Я читал любимые стихи, сидя в кресле, под одинокое фортепьяно Арно и шум дождя. Она сидела на моем обнаженном колене, легонько шевеля крыльями. Я читал и слушал, она ласкала меня и... любила. Она была прирожденной Лаской и Нежностью, она была Легкостью. Я восхищался ею ежеминутно. Я любовался ею. Я владел ею. Иногда я закрывал глаза, и она щекотала лапками и усиками мои ресницы, цепляясь к ним – невинно и мягко. Проводила по моим губам крыльями, и невесомость разливалась в моих конечностях и делала их легче пуха. Я никогда не переживал ничего более сладостного и более сказочного. Мы словно были частями друг друга. Да и как могло быть иначе, ведь я ее создал.

Однако скоро мои чувства стали перехлестывать через край, как волны в начинающийся шторм. Из глубины меня ко мне взывал тот, кто не защищал живые создания от палачей в детстве, тот, кто вносил в список жертв лягушат и котят, словом, тот, кем я тоже был, точнее, кем я был помимо Нее. Мое искаженное, падшее Я. Оно было во мне, как было и прекрасное. И меня рвало на части. Внутри меня началось землетрясение, которое с каждой минутой только набирало силу. Мне хотелось осязать, чувствовать вкус, прикасаться, мне хотелось даже жесткости, вызывающей дрожь и сладострастные судороги, сжимающей мои голосовые связки и доводящей до хрипоты. Я не имел ничего общего с первозданным, чистым человеком, способным к созерцательному чувству. По капле сквозь мою кожу просочились все признаки безнадежной страсти, перерожденного блаженства. Я был скотоподобен. Поначалу я оберегал бабочку от всего гадкого и темного, не позволяя ей ко мне приблизиться. Она была послушной. Послушней нее не было в мире создания. Стоило мне вытянуть ладонь – она уже легко опускалась на нее. Если я делал запретный жест – она просто порхала неподалеку – всегда любящая меня, несмотря ни на что. Словно она слеpla, когда я менялся и извращал самого себя.

Все-таки однажды я не смог удержать порыва. Я был пьян. Я напился не для храбрости, напротив, я хотел усыпить, ослабить в себе зверя. Но

у меня не вышло... Я подошел к столу, на котором всегда стояла ваза с ее любимыми белыми розами. Она покоилась в одной из них. Мне надо было включить свет, чтобы увидеть, где именно она предается своему нежному сну. И может, тогда я удержался бы. Может, я увидел бы, пусть лишь при свете лампы, всю ее хрупкость и раскаялся бы еще до содеянного. Но, как вы уже поняли, случилось худшее. Безжалостный и жадный до чужих страданий скот, я поочередно сжимал каждый цветок в ладони, разрывая его пальцами и измельчая лепестки в своих лапищах, а скорее – жерновах... Она отреагировала мгновенно и сразу очутилась в воздухе, очень испугавшись. Но ей ведь не было свойственно мое зло, поэтому она порхала в губительной близости от моих осатанелых рук. Я хотел прикоснуться к ней с новым чувством, а она по-прежнему ласково трепетала над ними. Я затаился как охотник, пока она не села мне на плечо.....

.... Я только теперь понимаю, что все это лишь часть Чьего-то разумного (нет-нет, вовсе не бредового Промысла). Я ее не убил. Разноцветная пыльца ее прекрасных душистых крыльев осталась на моих влажных ладонях, но сама она успела вылететь в окно – раненная мной, покалеченная, неземная красавица.

..

Прошло время. И если бы на свете была справедливость, я бы никогда больше не встретил ее. Я бы каялся и жил дальше. Но на этом ничего не закончилось. Я не учел того, что творение всегда безудержно стремится к Творцу, желая оказаться в привычной, породившей его атмосфере родного дома, гнезда. Я недооценил ее лучших качеств, тех, что мне самому были не свойственны. Преданности, верности любимому существу, благодарности, способности отдавать себя без остатка.

Она нашла меня снова и стала каждый день прилетать к моему окну. Сначала это было мучительно. Ее маленькие раненные крылышки-оборвыши, ее болезненный вид... Я чувствовал себя палачом, негодяем, подонком. Она была изувечена. Ее красота превратилась в уродство. Ее прекрасный наряд – в лохмотья... Из покаянного сочувствия я быстро перешел в иные душевные состояния. Я земной человек – не забывайте. Она стала раздражать меня. Она стала вечным напоминанием о моей жестокости и гнусности. И, может, мне хотелось оправдаться перед самим собой... я посвящал ее образам все свое время. Я трудился без устали. Я воспевал в ней кистью то, чего уже давно не видел и не ощущал. По правде говоря, я ненавидел весь этот фарс. Но то был единственный приемлемый для меня выход, иначе я мог бы озвереть

окончательно. Я презирал самого себя, а винил в этом ее. Кому охота жить в таком самоуничтожении?...

Ирония была в том, что я даже начал считать ее искусительницей. Я обвинил ее в том, что она была порочна, а ее красота была ничем иным, как соблазном, развратившим меня. Я логически объяснял себе свое гнусное поведение. Я утверждал, что поскольку она – мое творение, а я порочен, она по идее не может быть невинной. Она порочна, как и я. И даже более, чем я. Мой рассудок создал универсальную систему защиты. Я не хотел страдать.

В конце концов, мое терпение иссякло, и тогда я навсегда прогнал ее. Она была послушной, я же говорил. Я плеснул в нее водой из стакана. Она бессильно упала вниз. Вместе с водой она ударилась о газету, которой прикрылся бомж под моим окном. Я давно заприметил его. Я не убил ее и на этот раз. Она стряхнула капли с оборванных крыльев и снова взлетела, но уже не по направлению к моему окну. «Вот и славно!» – вырвалось у меня. «В конце концов, она всего лишь одна из сотен тысяч, – язвительно шептал я... – я найду ей замену столько раз, сколько захочу». Я действительно мог бы. Но не захотел. Я понял, что с бабочками надо покончить навсегда. Слишком уж они оказались утонченными для меня, слишком эфемерными. Мечта детства, похищенная мной с того луга в моем детстве, мечта, которую я лелеял с детства... я потерял ее, заодно и самого себя.

К тому моменту, как я избавился от бабочки, настало лето, и всю разлетались стрекозы...

Стрекоза была сильной и быстрой. Она восхищала меня своей маневренностью. Она была настойчивой и страстной. Мне нравилось, что она не рассыпается в прах от прикосновения моих напористых пальцев. Мы мало ласкали друг друга. Да и от ласк я к тому времени уже отучился. Я по горло был сыт чувственностью... мне хватило последствий этой неизлечимой болезни. Я был холоден. Ее это устраивало. Меня тоже. А звуки, которые производили ее крылья, были нужным сопровождением моей обновленной жизни. Иногда я сбрызгивал ее влагой, а потом наблюдал, как на капельках рождаются новые цвета, как преломляется свет в этих микроскопических линзах. Прозрачная и подвижная, она не заслоняла своей красотой горизонт, она позволяла мне видеть мир, не отвлекая на себя все мое внимание. Я находил в ней прелесть... впрочем, я мог бы найти ее в чем угодно... Цинизм стал моей второй натурой, с музами было покончено. Я был способен создавать из ничего. А стрекозе... да, ей не хватало красок, ей не хватало изыска-

ства, но она производила потрясающие звуки, в такт которым забилося мое спаленное сердце, и в этом ритме растворились воспоминания. Я был доволен жизнью. И, наверное, не очень удивительно, что она была предана мне, ведь я удачливый человек, как ни крути. Она охраняла мой сон ночами – сторожила меня от всякого зла. Быть может, даже любила... Я не собирался разбираться в тонкостях на этот раз. Стрекоза стрекотала. Я толстел и почивал на лаврах. Собственно, рассказывать об этом нечего.

Я видел мир сквозь ее прозрачные крылья. Отчасти я и сам со временем острекозел. Поэтому, что из себя представлял мир без этой призмы, я уже плохо помнил. Человек способен привыкнуть ко всему, да что об этом говорить.

Май дышал умеренным жаром. Я вышел на прогулку после обеда. Я хотел ощутить на лице лучи солнца. Я курил душистый табак и шел с воткнутыми в уши наушниками... слушал старого негра и подвывающий ему гитарный блюз. Стрекоза, как обычно, создавала фон. Она то и дело оказывалась перед глазами. Нам навстречу шел человек.

Я не сразу узнал его. Ухоженный, со сверкающей белоснежной улыбкой, в голубых джинсах и рубашке с каким-то ярким пятном на плече. Это было живое пятно. Это была бабочка. Широко раскинув свои блестящие черные крылья с лиловыми вкраплениями, она напоминала ювелирное украшение тонкой работы, представляя собой – силуэтом и цветами – на фоне своего спутника ничто иное, как... ИДЕАЛ КРАСОТЫ. Он смеялся и, кажется, пел. Он произносил какие-то неразборчивые слова, лепетал нежно и беспечно какой-то чувственный бред. Я ничего не слышал толком: мой негр заливался по-черному. Стрекот гудел в сознании. Я все еще был не уверен. Когда мы поравнялись – я по левую сторону, он – по правую сторону дороги, я узнал ЕЕ. Невозможно спутать с чем-либо эти легкие движения, эти великолепие и изящество... Ее движения... Она перемещалась по его лицу, грудной клетке, которая вздымалась от наслаждения. Она ласкала его ладони, веки, рот. Я почувствовал перемену, что-то новое в ней. Она словно стала плотнее и налилась изнутри соком, источая силу. Моя несравненная бабочка. Моя-я-я-я... Я ощутил экстаз от этого слова – секундную вспышку, которая обожгла мои душу и тело. Кто сотворил ее заново? Я не знал, не мог догадаться, пока окончательно не прозрел. Для этого мне пришлось отогнать стрекозу и выдернуть наушники из ушей.

Это был тот самый нищий. Тот бомж. Он оказался красивым юношей.

Светящимся изнутри. Его черты были исполнены мягкости и благородства, обаяние этого лица подкупало. Он был простым и естественным. Она непрерывно вилась над ним. Нет-нет... со мной она была скорее робкой, скорее, хрупкой... Теперь же она была уверенно-гибкой, смелой и еще более прекрасной. У меня нет слов, чтобы передать, что я почувствовал. Я был горд за Свое творение. Но я приблизился к ним, и чары мгновенно развеялись. Я словно бы взлетел, упал и разбился в одно и то же мгновение. Он пел песню, под которую она родилась во мне. Я четко осознал, что создал ее в муках ради другого... я пережил позор и унижение, я пережил столько боли, меня постигло такое личностное разложение, чтобы только кто-то другой был счастлив. Я создал Свою Любовь и вышвырнул ее – прямо в руки другого, не приложившего ни малейших усилий к ее появлению в этом мире. Я вдунул в его сердце свою песню, и теперь он пожинал плоды. Вся их история промелькнула в моем сознании пестрой кинолентой. Он стал Ювелиром любви, который не залатал и припаял отвалившиеся части, нет... он своим теплым дыханием выпестовал ее, раненую и больную, и крылья ее отросли, став лучше, чем прежде, ярче и великолепней. Никчемный и ничтожный прежде бомж – стал королем, а она – его королевой. Сотни криков отчаяния, вулкан взорвавшейся желчи, пролитой вовнутрь, – вот то, что меня переполнило в тот весенний вечер.

Иногда мы с моей стрекозой вылетаем поохотиться и подышать воздухом. Я всегда двигаюсь в одном и том же направлении – мимо одного освещенного окна в высотном доме. Там обитает семья, которая стала мне дороже всего на свете. Моя шумная подруга выписывает круги в поисках пищи для нас, а я сажусь на карниз этого окна и наблюдаю за мужчиной, женщиной и их детьми... Тепло их дома греет меня в эти минуты, хотя я всегда беспомощно плачу потом. Плачу где-то глубоко внутри себя. Там, где не слышен назойливый шум-стрекотание, где царит буйство красок и колышутся зеленые травы, где я чувствую на вкус гранатовый сок и пряности щекочут мои ноздри, где огромная мастерская при лунном свете становится Храмом, где ночью происходят чудеса, где я сам Верховный жрец или кто-то выше и могущественней... Я не стал великим художником, но я тот, чье творение однажды превзошло все ожидания своего Творца. Я счастлив, я очень счастлив, и радость моя порхает где-то на летнем зеленом лугу, иногда опускаясь на вытянутую детскую ладошку.



Родился в 1958 году. Прозаик и журналист. Автор многих переводов с древнеармянского (грабара), в их числе «Толкование «Песни песней» Григора Нарекаци, а также с русского – «Иконостас» Павла Флоренского и «Проблемы поэтики Достоевского» Михаила Бахтина. За переводческую деятельность награжден медалью Валерия Брюсова. Живет в Ереване.

И приходит миг, когда птицы парят в едином махе и небо светится ликованием, как лоно роженицы, а на самом деле вокруг тебя нескончаемо носятся птицы без стаи, или, что более худо, стаи без птиц.

Значит, направимся туда, куда и змеей не проскользнешь и птицей не залетишь, утешимся виртуальными путешествиями и метафизической добычей, расставим силки и словим не птиц и зверей, а попытаемся обнаружить, и не важно где: в Вавилоне, в Уруке, в Ниневии или Малой Армении, Грамматика, который некогда с поэтом ли каменщиком творил глиняные таблички (будь то деревяшки) текстов Гильгамеша либо другого шедевра, включая утерянные – они терялись или их теряли, – а оставшиеся в веках живут и исчезают во мраке нашего сумеречного сознания, где Гильгамеш, Одиссей, Иов, Экклезиаст, Дон Кихот, Мгер Младший и прочие мерцают в голове, как бы возникая на экране.

Все это путаницей носилось в голове вместе с вопросом, который я не успел задать своему спутнику, а именно, сколь давно он не видел у нас в городе стаи? Вся эта умственная каша была во мне и тогда, когда я, споткнувшись об “линсиевский” бордюр, шлепнулся об асфальт и растянулся на тротуаре, и далее, когда чья-то жена осторожно обрабатывала мне рану на лице. А наутро, когда стал я рассказывать о том, что стряслось со мной первой встречной старухе, та с улыбкой изрекла в ответ: “Под ноги надо смотреть, а не витать в облаках”. Говорят, Фалес, один из семи мудрецов Эллады, когда его спросили, почему он не заводит детей, ответил кратко: “Потому, что я люблю их”. Так вот, когда Фалес в сопровождении старой служанки вышел из дому за звездами понаблюдать, он споткнулся, упал в яму и стал звать на помощь, и старуха тогда и сказала ему: “Смотри Фалес, ты не видишь земли у себя под ногами, а хочешь знать, что там на небесах?” Я, разумеется, не Фалес, но старуха была той самой старухой, с той же натянутой на лицо, как разноцветный парик, улыбкой.

Время течет, и давно уже не кружатся стаи над этим серым, разношерстным городом, да и над другими тоже.

Давненько было – знакомая моя, что пришла оттуда, где согласно видению опустился Единородный, с ужасом рассказывала о виденной ею последней стае. В смутной моей памяти запечатлелись ее тревожные глаза. Высоченные тополя вместе с жилищами аистов исчезли с храмовой улицы, и стая металась вдоль всей улицы, металась-металась и улетела, совсем как наши скитальцы-поэты. Каждый раз возвращаясь к этой истории, я вспоминаю беднягу Хосрова, который пока еще не прибыл в нашу землю, а тут уже настроились против него, ошети-

лись, вооружились, мол, де: “А этот переводчик куда лезет?” То бишь, есть у нас один, его нам хватит. “И благословенный, говорят, издали вняв шуму смертоносных стрел, помолился Всевышнему и тотчас же преставился. Смерть его другие, а не мы достойны были принять”.

Когда разоренная стая еще металась и кружила над видением про Единородного и призрачными тополями, а внизу равнодушно, но аккуратно складывали спиленные ветви деревьев. И усталостью утомленного палача, опершись об оголенные стволы, исполнители курили, а по встречному тротуару мимо шел преподаватель армянского языка и литературы Нерсес Аматуни, который каждую весну водил своих на древонасаждение и, вызывая к их энтузиазму, читал им патриотические стихи и пел песни.

И старший из дровосеков (а в те дни злого холода и мрака мы вроде все были дровосеками и жили в “глухом средневековье”, как заложники пущенной легкой рукой гуманистов не очень удачного словосочетания, чьи “medium aevum” – “средние века” стали по сей день нашей единственной цитаделью, а время это для истории Европы было средостением между двумя славными ее страницами: между античным миром и Возрождением и нашло свое выражение у гуманистов как “темные века”, что сегодня для нас возымело зловещий и мрачный смысл) – Аракел, кто в кои-то времена был тощим и нежным, смысленным мальчиком, с глубоко посаженными глазами и впалыми щеками, который в саду у бабули держал ежа и черепах, долгими ночами высматривал огоньки светлячков в кустах топиамбура, либо, лежа в свисающем с ветвей шелковицы гамаке, взираал на звезды, и который скрытно, возможно, и сам не ведая, нес в себе много чего такого, теперича, вдыхая папиросный дым, не мигая глядел, как в воздухе “бьется об стену” (подумать я не мог, что можно в воздухе биться об стену) семейка аистов и, замечая подпрыгивающие растерянные их тени на монастырской стене, злорадно ухмылялся, в ту минуту он был одним из тех, кто бросил в реку кости Маштоца, выкопав их из могилы. Бросив окурок, он обернулся и увидел фигуру удаляющегося учителя, смутно вспомнил школу, узкий и длинный класс, раскоряченные с облезлой краской школьные скамьи, веснушчатую с косами соседку по скамье, будни с обязательной зубрежкой, со стоянием у коричневой доски и у измазанных надписями стен и с первым неожиданным и для него вопросам учителю:

– А что такое язык?

И в этот миг он был Корюном, который, исстрадавшись, желал найти своего богоданного Маштоца, и сказал ему учитель в ответ:

– Язык – это средство общения.

– А почему, скажем, зов сокола, рык льва, блеяние овцы, трель соловья, ржание скакуна не являются средством общения?

После продолжительного и задумчивого молчания учитель, вроде уточняя свой ответ, упрямо изрек:

– Язык – средство человеческого общения.

Этот ответ был, в конечном счете, ответом наших учителей, и ответ этот вздулся в классе пузырем, лопнул, источая смрад, свился узлом, кольцом повис на кончике наших ушей.

Аракел долго и пытливо смотрел вслед удаляющемуся учителю, махнул ладонью и вновь повернул голову к монастырской стене, с которой сползли тени срубленных тополей, и которая оголилась теперь после стгнувшей пляски стаи. Годы спустя сотрутся из его памяти и школа, и лик веснушчатой девочки, и стая, и отдыхающие ныне на пнях два его сотоварища, и преподаватель армянского языка и литературы Нерсес Аматуни, кто в реальности и был утративший почву под ногами и небо в глазах тот самый Грамматик, который ныне заменил по сути причастие на средство общения и стал глух к языку жар-птицы, и прозрение, как давеча аисты, покинуло его.

А Грамматик, как в начале мы ошибочно сказали, не вместе с поэтом, писарем, каменотесом, а неся в небесах свой души как стаю поэта, писца, музыканта, вещателя, посвященного, толкователя, являлся не важно где – в Египте, Индии, Поднебесной, Иерусалиме, Византии, Великой, либо Малой Армении – стократно единый и лучезарный.

В Египте он книгу сделал телом, а тело это почитал как предмет овеществления таинственных сил и в тексте завещал всем возлюбить сердцем книгу как мать свою, ибо нет превыше книги ничего.

В книге пророка Иезекииля есть пример такой мистической инициации: пророку показывают книгу, исписанную изнутри и снаружи и наказывают сожрать ее, наказывают сыну человеческому устами припасть к ней, ею наполнить чрево свое. Позже кто-то из толкователей говорил – важно в теле своем почувствовать тело книги, чтобы причаститься к ее смыслу.

Семь столетий спустя после Иезекииля римские воины заживо сожгли в восточной провинции писца вместе со священной книгой. Ученики его вопрошали, что видит он. Он ответил – книга горит, но слова летят вдаль. Летят. И когда объединяются в стаю, небо становится небесами. Эллинский Грамматик в глубине своей души был гений устного слова, пренебрегал писцом внутри себя, но не отказывался записывать озвученную речь, уравнивая глас и тишину, язык и безмолвие, он

более всего почитал “живое тело” взмывающего ввысь слова аэдов. По определению проникательнейшего из толкователей, литература эллинов не писана, а записана.

Из сиих чужеземных странствий, прервав бесконечное шествие по узким проходам и безднам, нехоженными тропами, иссеченных письмами камням и монастырям вернемся в наши края, в наш мир и узрим, о чем глаголет наш Грамматик, он вещает: «И поскольку не было у них письмен, принесли бестелесное Слово и облачили его в тело, чтобы с легкостью постичь непостижимое». Сообщает, что нанес на древо и закрепил в пергаменте и бестелесное овеществил, то бишь дух претворил в тело – письмена. В месте ином он излагает такое: письмена называются буквой, то есть элементом, поскольку стихии – материя всего тела...и так приспособливает изложение к строению тела письмен: буква – духу, письмена – телу, гласные – чувствованиям, согласные – членам, насыщенные – костям, поддающиеся – мягкому телу, мышцам, нервам, срединные – жилам и сосудам, и вся словесность – человеку. Аракел еще раз должен был встретить учителя. Когда с сотоварищами – дровосеками пришел на очередной митинг армянского общенационального движения – то была его посильная лепта – и когда под карканье ворон, под взглядами засевающей на деревьях абы-пичуги, детворы, толкаясь локтями, продирался сквозь толпу, вдруг услышал знакомый голос и заметил опирающегося на палку Нерсеса Аматуни. Он объяснял свисающему с ветвей мальчугану смысл прозвучавшего над толпой слова, в то время как остальная мелкота на ветвях, словно воробы-выкормыши, сглотнув с уст взрослых это самое слово, неистово вопили:

–...сессия, сессия, сессия...

Нерсес же Аматуни, проявив прискорбное усердие, поучительствовал в разных местах и найдя себе долговременное пристанище в том месте, где Просветителю было видение, теперь в нашем городе, подобном убранной шарами уродливой искусственной елке, стал заведующим кафедрой языка в одном из многочисленных, проросших словно грибы после дождя университетов. И теперь, когда слова истомились, обессиленно задыхались в безъязыком говоре, он пребывал в своей стихии, как мелководная курлычущая речушка Гетар. Язык он нес вне себя, словно стяг, щит, порфиру, возможно царскую мантию, но уж точно не в себе, а важно было в себе, дабы причаститься к смыслу слова.

И вот после всего сбившийся в толпу перед посольством жалкий люд, возможно таивший в глубине своей нечто крылатое, не мог выразить это нечто, дабы взмыло оно клином в небо. И нельзя определить, что

он есть: толпа, стадо, стайка, табун, только отнюдь не птичья стая... Но наступает миг, когда птицы парят единым махом и перед нашим потухшим и лишенным иллюзий взором в некоей дали, в небесах небес появляются стая и Грамматик.

Перевод с армянского Рубена Сукиасяна

Город (Из записок бывшего горожанина)

Совсем как та женщина

Совсем как та женщина, что с настырностью сорняка неизменно возникала в узком переулке по дороге к давнишнему другу и, накинувшись как фурия, горько причитала: мол, не подумайте, что я такая безобразная, просто меня в детстве подменили в колыбели...

Совсем как та женщина и город теперь... Неизвестно кто и когда подменил его, где и что он потерял и не мог найти... с его непритязательными низкими и высокими красивыми зданиями, старыми арочными с орнаментом бурыми домами, всплывающими перед мысленным взором пронумерованными квадрами подлежащими сносу домами, которые время, словно пазлы шаловливой рукой пацаненка, разметало напрочь. Сады и железнодорожные пути, устремившиеся ввысь пирамидальные тополя, приветливые улыбки на лицах, мягкая ирония, счастливое чувство своего, свободное от щепетильности поведение и опасная роскошь наплевательского отношения ко всему.

Совсем как та женщина... На чьи усталые сгорбленные плечи ныне ритуально опускается “провинциальный закат”... и этот глас в ушах, будто зазывное приглашение “ночных бабочек” под вой музыки проносящихся машин и бормотание и речь ее:

– Была я писаная красавица, зри – не нагладишься, подобно форели редкой либо сказочной птице в небесах, отдыхайте, луна и солнце, покуда есть я...

И так без конца...

Все это мучительно и неопределенно отрывочной тусклой явью крутилось в голове, когда дремотным взором оглянулся на сидевшую в кресле за вязанием жену и уперся взглядом в подтанцовывающий у ее ног клубок, будто силился достать оттуда нить Ариадны, не зная, куда она выведет и в Тесее слышал стон Минотавра, что хотел он извергнуть из себя, как до смешного победоносный, празднично-неряшливый город, пестуя в себе сердце маленького укромного городка, силится извергнуть из себя призрак молящегося пред очей твоих Человека-Города.

Случай или происшествие

Вдруг ты вспомнил этот не то случай, не то происшествие, как хочешь назови...

В громадном и пустом доме одиноко и неустроенно жил знакомый художник, с которым произошла эта забавнейшая история:

...из дому почти не выходил, когда позвонил некто и пригласил меня куда-то, туда, если не в смокинге, то хоть в костюме надо было идти. Я достал никогда неодеванный старый-новый свой костюм, туфли подстать костюму тоже были старые, но неодеванные, поскольку, как говорил, почти не выходил из дому, а вот достойных носков у меня не оказалось. Я пошел в магазин и на последнюю мелочь купил пару носков. Дома развернул покупку и обнаружил, что вместо пары носков, там оказался один, и, значит, я не мог пойти на важное, или, как мне тогда казалось, важное для меня randevu. И пока я огорошенный сидел перед открытым окном, с пышной кроны дерева на улице слетел крупный кузнечик и сел на нервно подрагивающее мое колено. С совестливой жалостью я осторожно взял его и стал с интересом рассматривать, восхищаясь его окраской и причудливым строением, и тут заметил, что у кузнечика недостает одной ножки, оторопело присмотрелся и от неожиданности громко расхохотался...”

О будущем города

Если бы мы могли помыслить смерть во всей ее полноте,
мы бы умерли в ту же минуту.

Дени де Ружмон

Жутко жить в городе, где с каждым днем многое предается забвению, или реже вспоминается, или, в лучшем случае, хранится в памяти....

Городские улицы

Городские улицы с каждым днем становятся все многолюднее и безликие...

Люди города

Люди, живущие в городе, испытывающие неистребимую тоску по роду людей...

Городские кладбища

...Где испытываешь смущение оттого, что еще жив., валясь на каменную скамью в присутствии статуй и обелисков, голову клонишь на грубоватый саван мраморной плиты...

Городские родильные дома

Неизменные со дня основания, а может, и похуже, но хоть без осеняющего имени бесплодной Крупской...

Бабочка

На стекле окна лестничной клетки одного из грязно-розовых городских зданий трепетно бьются чудные крылья бабочки, потом вдруг замирают, подобно непроизнесенному стиху, либо расширенным зрачкам разбуженного ото сна испуганного младенца.

Вороны

И почему после землетрясения и возникшего тогда же Движения вороны забили небо нашего города, не скажет никто?... Но воронье заклевало Огненнокрылого Ворона, и Мгер, поддавшись обману и не заметив, а может, вовсе не обратив внимания на то, что ячмень не уродился величиной с шиповник и шиповник величиной с яблоко, вышел из пещеры, и теперь все больше был одолеваем желанием вернуться назад, но и чьи ноги завязли в земле и невнятно выдавливал он из себя известные слова, поскольку задышался, и назад ему не было пути, и выбраться не мог, ибо не было пути, указующего Ворона с его огненными перьями.

Как мы знаем, древнейшее упоминание о вороне в вавилонском эпосе о Гильгамеше было связано с историей всемирного потопа. ..Утнапишти с ковчега, на котором спасается от потопа, поочередно выпускает стрижа, голубя, ворона, чтобы узнать появилась ли земля. Первые два со смущением прилетают обратно, а ворон не возвращается, что и говорит о том, что проступила суша. Библейская история, которая восходит к вавилонской, гласит, что ворон не вернулся, а уж потом вернулся голубь с оливковой ветвью, то есть ворон выступает в этом случае как вестник беды, а голубь – спасения. Ной проклинает ворона, а если следовать версии армянского источника – чернит его, и благословляет голубя. В средневековой христианской традиции ворон становится воплощением ада и сатанинских сил, а голубь – рая, святого духа и крещения. Не увлекаясь соблазном проследить превращения ворона в других культурных традициях и распространяться в толкованиях, ска-

жем только, что большей частью птица ворон является вестником несчастья. Явление ворона в левой стороне дома вещает неплодородие, а встреча двух ворон в полете – войну.

Оглядываясь на указанное противостояние ворона и голубя и всеобщие призывы возврата к вере, заметим, что голуби почему-то напрочь исчезли из нашего города, за исключением изредка встречающихся горлиц, которые из-за своего томного воркотания стали секс-символом в Древнем Риме.

А зловещие вороны появляются не только в левой стороне дома, но и повсюду, куда ни кинешь взор.

Городские деревья

Временами напоминают преступников на лобном месте в ожидании казни...

О невозможности написать Город

Поскольку пространство города душит время в себе, то задыхаясь оно выливается в стих, восстанавливая дыхание, разрешается в рассказе или эссе, как-то отдаляясь от себя преобразуется в статью или очерк, но ни в коем случае не в роман, его важные составляющие, как утерянные пазлы, фрагментарны и не восстановимы.

Все романы, написанные в городе, – это суть потерянная родина (Карс, Ван, Константинополь – пространства гениальной литературы), либо ноющий и тускнеющий в тебе и в твоём уголке города родимый край, либо историческая Армения, наверно, соответственно теме самая вымученная и шаблонная (имеем в виду все те романы, что можно выставить на прилавок рядом с безвкусными женоподобными солонками, с лакированными деревянными хачкарами и прочими вещами), в реальности же одно из неиссякаемых и вечно ускользающих ответвлений нашего литературного древа.

А поскольку город, несмотря на свои уродливые потуги, не стал городом, то невозможно ему явиться в романе. Романом, в лучшем случае, может стать небытие города.

Отсюда и время, в свою очередь, с ненасытностью Кронаса пожирает в себе пространство, которое должно было стать романом.

Сумасшедшие города

Сумасшедшие в городе, подобно голубям, извелись, ибо все мы сошли с ума.

Эмигранты

Если некто каким-то чудом написал бы историю нашей внутренней и внешней эмиграции, то Одиссей стыдливо ретировался бы...

“Белая ворона”

Кто впервые употребил как метафору выражение “Белая ворона” в том смысле, в каком мы употребляем сегодня, трудно сказать?..

В устной словесности это неведомо, а в письменной мы впервые встречаем выражение у римского поэта-сатирика Ювенала:

Раб может выйти в цари,
Пленник – дожидаться триумфа.
Только удачник такой редкостней
Белой вороны.

Несмотря на ограниченность источников, надо полагать, это выражение известно издревле и использовалось с двояким смыслом: с положительным и отрицательным оттенком, в зависимости от того, кто говорил и что имел в виду.

Но в любом случае, выражение “Белая ворона” определяло исключительно положительные или исключительно отрицательные явления.

Вследствие того, что плохое в жизни нашего города прочно утвердилось и имеет всеобщее распространение, “Белая ворона” у нас производится в исключительно положительном смысле.

То, что в птичьей среде такое не заметишь в городе, не так грустно, как то, что скудеет число таких городских обитателей.

Руки города

Ты вспомнил установленные на кольцевом бульваре, присланные из итальянской Каррары мраморные руки и ошеломленную девочку лет четырех, что кружила вокруг скульптурных рук, разводила руками и недоуменно спрашивала: “А сам-то где?..”

Спустя годы товарищ по перу, приехавший издалека, проходя мимо Северного проспекта, спросит:

– А где проспект?

Городские пьяницы

Городские пьяницы, что нонче не опьянеют...

Опять бабочка

Вспомнил давний рассказ пожилого товарища:

...Каждый раз, когда дед рассказывал о первом паровозе, проехавшем через деревню, страх и ужас отражался в его глазах, это был тот самый ужас, который я заметил, – проходя мимо железобетонных свай возводимых домов, разрушенных хибар и уродливых новостроек, – в глазах моей маленькой дочки, когда на заржавевшей арматуре она увидела роскошную бабочку.

Городские собаки

Городские собаки ныне предстают не в резвом виде с поднятым хвостом, а понурые с поджатым хвостом они обходят людей, боязливо и с сочувствием поглядывая на них.

Городские кошки

Городские кошки (в отличие от сытых и важных своих домашних сородичей и редких ванских котов, которые с грациозным достоинством пытаются понять куда они попали) вертятся вокруг мусорных баков, запуганные руганью бомжей, норовящие ухватить жалкую добычу, ничем не напоминают известных еще с египетских ваяний и запечатленных в детской памяти самодостаточных, неприручаемых и капризных созданий, которые всплывают в голове – трепетные и неожиданные, как строка стиха.

Городские праздники

Безысходно нудные, они все более напоминают репетиции спектаклей в провинциальном театре...

Центр города

Так как город не состоялся как центр, то постепенно нивелировался и его центр.

Здесь, в центре, возможно по причине, что его нет в помине, все видится преходящим, ирреальным и искусственным, и оттого умерщвляюще-фальшивым. Здесь просто сгинуть во имя идеи от несчастного случая или от чего-либо иного. Не требуется усилий и жить здесь без всякого покаяния. Здесь всегда кто-то живет вместо тебя, и каждый день незаметно кто-то умирает, либо так же незаметно рождается, напоминая выбитое из опоры чертово колесо.

В центре острее ощущается, что из городского облика исчезли истоки его возникновения, то бишь, знакомые, укромные его уголки...

И лимузины с затемненными стеклами с ревом проносятся над заму- рованной под асфальтом старой речке...

Замурованная река

Покуда воды гулко стонут и утопают в мрачном аду, припомнился по- добный быстротекущей реке безумный и неукротимый Чаренц.

Пьяный стоял он, покачиваясь над этой речкой и восклицал:

– Вот это да, вот это река!...

А когда мимо проходящий седовласый историк с укоризной качая го- ловой, а на губах, как пена, все известные и неизвестные реки истори- ческой Армении, попытался возразить, спросив:

– Да разве это река?

Чаренц, остановив свой мутный взгляд на нем, оборвал его:

– Имеем то, что имеем... – и, выдержав паузу, повторил: – Вот это река!

На его замшелых, замусоренных берегах назначались свидания, влю- блялись, проливали горячие слезы, от которых река была в разливе, и в ней купались и даже мылись.

Теперь, когда мы не имеем даже этой реки, припомнился также падаю- щий в Гетар поэт Р., кто поневоле или бессознательно, подражая Чарен- цу, любил задумчиво постоять над водами Гетара и смотреть на зам- шелые, мелководные, грязные и кишачие крысами воды. И поскольку любил забредать сюда, основательно приняв на грудь, то все заканчи- валось тем, что он оказывался в зловонных и клокочущих водах Гетара. Выбираясь из воды и смахивая с лица и черного цилиндра прилипший мох, пожелтелые сорняки и взгляды уstraшенных любопытствующих, говорил: "Что переполошились, не впервой..."

А когда реку, забетонировав и заасфальтировав, взяли в плен, вынудив задохнуться в глубине собственных вод, поэт увидел в этом провиде- ние либо чей-то зловещий умысел и явился к другу с простой и не- скрываемой целью выпить, и, узнав, что к чему, уставился невидящим взором в стенку. Вдруг сын приятеля, который сидя в сторонке и, хло- пая глазками, внимательно прислушивался к разговору, взволнованно вскочил и, устремив на него удивленный взор, спросил:

– А куда ты теперь будешь падать?

Летучие мыши

Вспомнив, как в детстве у соседей в проеме оконной рамы притаилась заблудшая летучая мышь, задумался, куда ныне делись они; в сумерках

вместе со стрижами поднимающиеся в воздух, эти маленькие "чудо- вища", прославленные во многих легендах и в мистической литературе как провозвестники зла, на самом же деле милые, добрые создания, за- печатленные в памяти как снаряды с присвистом проносящиеся мимо лица, резко увертывающиеся от столкновения с целью. Странное сло- жились отношение к этим химерического вида созданиям у людей – да и как иначе: видят ушами, спят, свесившись вниз головой, они запечат- лены в древних культурах, в средневековых картинах и преданиях как призраки зла.

В мировой литературе ранние примеры хироптерофобии (в букваль- ном переводе с греческого – боязнь рукокрылых) отмечены в одной из басен Эзопа, в которой рассказывается о кровавой войне птиц с жи- вотными. Благодаря своей двойственной природе крыланы, будучи и земными, и небесными тварями, в битве принимали то одну, то другую сторону, напоминая поведение тех наших политических мужей, кото- рые переняли это свойство крыланов из эзоповской басни, мечась из стороны в сторону, в зависимости от того, как развиваются политиче- ские процессы. Когда в животном царстве воцарился мир, крыланов сообщество осудило и запретило им днем появляться в миру.

А почему крыланы бесследно исчезли из нашего города? Скажем так: об этом можно прочесть в книге "Летучие мыши и ультразвуковое колебание"; автора, окрестим его так – Питер Пахлавунни, назовем ар- мянским орнитологом, ныне проживающим в маленьком прибрежном американском городке, где он работает водителем "Скорой помощи" и к тому же является председателем "Общества охраны рукокрылых".

И вот вышеупомянутый нами автор в одной из своих работ, обращаясь к проблеме нашего города, где прошло его детство, юность и значитель- ная часть зрелой жизни, пишет о крыланах: возвращаясь к вопросу об их исчезновении из нашего города, выдвигает версию: наипервейшую из причин он видит в том, что в центре города беспрерывно звучит невыносимая музыка, которую сверхчувствительное ухо крыланов не выдерживает, и от которой они бездыханно падают наземь; и вторая не менее значительная причина: пышно справляемые в городе ритуаль- ные мероприятия, с их пустым, зазывным звукорядом: гудками, музы- кой и прочее... Их то и не сдюжили летучие мыши, ибо, видя ушами, они не в состоянии были слышать глазами...

Перевод с армянского Рубена Сукиасяна



Родился в 1972 году. Автор тринадцати поэтических и прозаических книг, а также нескольких пьес и киносценариев. Лауреат премии «Пен-Марафон» (2002 и 2004), «Саба» (2003), «Аист» (2007), «Литературные Имена» (2010), ежегодной премии журнала «Октябрь» (2009, Москва). Дипломант международного конкурса рассказов «Литературные Мосты» (2010, Баку). Его произведения переведены на восемь языков. Главный редактор ежемесячного журнала «Литературная палитра». Живет в Тбилиси.

Тринадцатое пятно

– Баба Лина!.. Баба Ли-на!.. Мурман от..бли!..
Гио сломя голову бежал в деревню.

День клонился к вечеру. Шел дождь, шел, не переставая, – как будто кто-то там наверху не закрыл кран. Позванивая колокольчиками и степенно ступая по покрывавшей дорогу жидкой грязи, возвращались с пастбища Мурман, Нодар, Элисо, Эльза, Лина, Бычок, Зорро, Коля, Увалень и другие коровы, принадлежавшие жителям деревни. Вода размыла нарисованные у них на боках чернилами имена хозяев, и поэтому темная жижа под их копытами приобретала местами фиолетовый оттенок.

Каждая из коров была наделена белоснежным левым боком, тогда как на правом располагались тринадцать черных пятен одинаковой формы и величины. Это и являлось признаком их редкой породистости, величали же их – коровами Пятницкого. Говорили, что давным-давно их пятнистую праматерь завез сюда некто купец Пятницкий, и с тех пор местные крестьяне разводили исключительно ее потомство.

Внешне коровы почти не отличались друг от друга, почему и придумал деревенский художник – он же ветеринар – Мурман написать на них сбоку – разведенными растительным маслом чернилами – имена хозяев. Но каждый раз в непогоду всю его работу смывал дождь, и ему приходилось потеть заново.

В тот вечер коров, оповестивших, мыча, деревню о своем возвращении, и их личного врача и живописца ожидал привычный ритуал.

•
“Нодар. 8 лет. Мать – Надежда. Отец – Карп. Удой – 22 л.. Глаза – цвета кофе “Пеле”. Рога – спиральные. Пятен – 13. Вес – 395 кг.. Хозяин – Нодар Двалишвили,” – читал вслух в своих истрепанных ветеринарных записях Мурман, присев на треногий стул и положив их на худые колени: там у него была отмечена каждая корова.

”Я же осматривал ее накануне: лихорадит. Нужно впрыснуть ей биомицин...” Он посмотрел на Гио – соседского мальчика: – Малец, сбегашь к Лие за шприцем?

– Да, я мигом!.. – вскочил Гио.

– Только не принеси опять швейную иглу!.. Или – нет, постой, я тоже пойду: надо купить чернила... – Мурман неторопливо поднялся и набросил плащ.

•

У Лии были светлые волосы, она все еще была не замужем и держала на окраине деревни небольшую лавку, в которой торговала чем придется: начиная с обычных пищевых продуктов и лекарств – кончая сельскохозяйственными орудиями и самыми разнообразными предметами домашнего обихода.

Мурман был влюблен в Лию еще с детства, но из-за робкого характера до сих пор не решался прямо сказать ей о своих чувствах. Раз в неделю он заходил в лавку, чтобы купить стержни с чернильной пастой или лекарство для коровы, Лию же раздражала его затянувшаяся нерешительность, и поэтому каждый раз их встреча получалась напряженной. Все вокруг были едины в том, что Мурман и Лия просто созданы друг для друга и что кто-то из них двоих – в конце концов! – должен сделать первый шаг. С другой стороны, и сама Лия, и ее односельчане считали, что – как мужчина – инициативу все-таки должен проявить Мурман, но при виде любимой женщины он лишь краснел до ушей и прятал глаза.

– Сорок стержней, если можно...
– Сорок? – глядя исподлобья, Лия отсчитывала стержни.
– И еще масло... подсолнечное...
– Так... Что-нибудь еще?
– Да нет... вроде бы ничего... больше... – Мурман, как всегда, готов был провалиться сквозь землю. Лия сердито бросала стержни и шумно ставила на прилавок бутылку с подсолнечным маслом.

•

Это началось в один из дождливых вечеров, когда Мурман пошел в хлев посмотреть – как там его корова. Насквозь промокшая, она теперь уныло пережевывала жвачку в своем стойле; имя хозяина на ее левом боку смыло в очередной раз.

Мурман был в хорошем настроении и что-то про себя напевал. Он выдавил в жестяную банку чернильную пасту из купленных накануне у Лии стержней и стал разводить ее подсолнечным маслом. Помешивая кистью и одновременно оглядывая корову со всех сторон, Мурман стал машинально пересчитывать черные пятна у нее на боку.

“Раз, два, три...”

Мыслями Мурман давно уже был на кухне, представляя, как – закончив возиться с коровой – он испечет кукурузные лепешки...

“четыре, пять, шесть...”

... и надо было еще прокипятить молоко...

“семь, восемь, девять...”

... а как он любил запить свежееиспеченную кукурузную лепешку горячим молоком!.. Так он завтракал, так он и ужинал...

“десять, одиннадцать, двенадцать...”

Мурман вдруг застыл на месте: тринадцатого пятна не было. Не поверив своим глазам и схватившись за голову, он пересчитал пятна еще раз, но их число не менялось. Он приложил мозолистую ладонь к горевшему лбу и бессильно опустился на стул.

•

Весь вечер пересчитывал Мурман пятна на боках у соседских коров, восстанавливая чернильной краской имена их хозяев, но лишь у его коровы не доставало того тринадцатого пятна...

– А может, она уже старая – твоя, Мурман, вот пятно и исчезло? – высказал неуверенно свое предположение Гио.

– Глупости!..

– Дядя Мурман, ты же видел жирафов в зоопарке... Разве у них – к старости – не седеют пятна?

– Да какая старость – у шестилетней коровы!..

Потрясенный происшедшим, Мурман в ту ночь видел странные сны: он был перелетной птицей и пролетал над большим зеленым лугом, на котором паслось стадо коров; сразу разглядев среди них свою и в какой-то момент оказавшись прямо над ней, он в птичьем облике поднатужился и уронил изрядное количество белого помета, который со свистом полетев вниз, упал ей прямо на тринадцатое пятно, мгновенно окрасив его в белый цвет...

Мурман проснулся в холодном поту. Уже наступило утро; из хлева доносилось мирное мычание. Он наскоро оделся, налил воды в ведро и пошел к корове.

Долго тер Мурман коровий бок мокрой губкой, но все напрасно – пятно не возвращалось. Очень злой, в очередной раз насчитав двенадцать пятен, он громко выругался.

•
Мурман уже три дня ничего не ел и бродил как тень по грязным деревенским переулкам, исчезнувшее пятно не выходило у него из головы.

– Дядя Мурман, а сколько молока дает твоя Мурман? – спрашивал мальчик.

– Двадцать литров.

– Четырью пять?

– Все-то у тебя наоборот, дурачок...

– Ну, назови еще какое-нибудь число, пожалуйста!

– Какое число?... Семьдесят семь.

– Знаю! Семью одиннадцать!..

– Силен, силен!..

– Дядя Мурман, а, дядя Мурман!

– Вот пристал!..

– А почему у всех коров в нашей деревне по тринадцать пятен?

– Понятия не имею...

– А ты пишешь на них имена для того, чтобы они узнавали друг друга, да?

– Нет, это не для них, а для хозяев – чтобы могли разобрать, которая кому принадлежит.

Каждый вечер Мурман и Гио вместе осматривали правый бок у вернувшейся с пастбища коровы, но пятен на нем неизменно оставалось двенадцать. И каждый вечер с чувством досады Мурман продолжал заниматься своими обычными делами: доил корову, заквашивал молоко для сыра и в конце брался за кисть.

– Какие буквы красивые!.. – восклицал Гио.

– Это Arial Bold...

– Ариел что?.. Болт?..

– Отстань от меня, малец!..

•
Когда к концу четвертого дня, снова пересчитав пятна у коровы, Мурман обнаружил, что их – как и раньше – тринадцать, его чуть не хватил удар, и он слег с высокой температурой.

До самого утра Мурман бредил и звал Лию, а Гио со своей бабушкой ухаживали за ним, смачивая в холодной воде полотенце и прикладывая его ко лбу больного. Они даже вынуждены были попросить Лию открыть лавку посреди ночи, чтобы купить жаропонижающее. Приняв его, Мурман наконец заснул.

Его разбудил звон колокольчиков: стадо коров лениво проходило мимо окон. Лежа и потягиваясь, Мурман вдруг заметил стоявшего у изголовья Гио, на шее у которого висел его военный бинокль. От неожиданности ветеринар даже сел в постели и, нахмутив брови, пристально посмотрел на мальчика.

– Зачем он тебе? – спросил он, указывая на бинокль.

Гио, не ответив, повернул бинокль обратной стороной и, посмотрев через него на Мурмана, рассмеялся:

– Какой ты маленький!

– На вопрос – ответишь?!

– Пойду за ними на пастбище... – с важным видом произнес мальчуган и посмотрел в окно.

– Для чего?

– Следить за твоей Мурман!

– Ты сегодня пятна считал?

– Опять тринадцать...

– Опять?! Что за наваждение!..

•
Гио и правда пошел за коровами, но по другой дороге – чтобы они его не заметили. Он обошел с южной стороны луг, на котором паслось стадо, взобрался на высокое дерево и, вооружившись биноклем, стал вести наблюдение.

Помахивая хвостами, коровы неспеша паслись по всему лугу. Маленький сыщик вытащил из-за пазухи тетрадку и нарисовал в ней карандашом карту пастбища.

В течение всего дня он, не слезая с дерева, записывал, что делала та или иная корова, помечая на карте также и каждый ее переход с места на место.

“10:23 – Уваленъ подвинулась вперед на три шага и посмотрела на небо. Мурман жует.

10:35–10:47 – Нодар, не поднимая головы, помахивает хвостом.

11:03 – Бычок выпустила струю.

11:28 – Лина отошла направо: на десять шагов.

12:05 – Эльза наделала лепешек.

12:24 – Элисо разлеглась на траве и зевает.

Мурман жует.

13:11 – Зорро веселится: прыгает да скачет. “

Когда вечером Гио вернулся в деревню, он не смог сказать Мурману

ничего утешительного.

- А сколько у нее сегодня пятен? – спросил тот.
- Сегодня – тринадцать...
- Что за черт!..

Записи в дневнике мальчика тоже не давали ключа к разгадке.

Так продолжалось три дня.

Баба Лина!.. Баба Ли-на!!.. Мурмана отъебали!..

Гио сломя голову бежал в деревню.

- Кого?.. Что?.. – вышла ему навстречу бабушка в темной одежде.
- Ну, ба!.. – мальчик подпрыгивал от нетерпения...

•

– Так вот, дядя Мурман: в первый день они вели себя как обычно, и на второй – тоже: паслись себе, хвостами помахивали... Ну, вот же, смотри – я все записывал... И в третий день – ничего не произошло... Ты и сам знаешь...

- Ой!.. Говори уж, не томи!..
- А сегодня... у твоей Мурман снова будет двенадцать пятен!..
- Ты что, мальчик, смеешься надо мной?!..
- Погоди, дядя Мурман... И сегодня – слежу я за ними, слежу, записываю все у себя в дневнике... вот, посмотри...
- Да убери ты этот дневник, наконец! Что дальше?
- Дальше?... Дальше наступило 12 часов 26 минут...
- И?!..
- И с соседнего пастбища, что через овраг, послышалось громкое мычание... – Гио указывал рукой туда, где лежала соседняя деревушка.
- Да, там тоже есть коровы... – кивнул Мурман.
- Я посмотрел через бинокль, вижу – те коровы тоже пасутся и тоже помахивают хвостами, но они все разные: некоторые – черные, некоторые – бурые, а некоторые – вроде наших – с пятнами... А одна из них – ну, точь-в-точь твоя Мурман! – отделилась от стада и пошла к оврагу...
- Гм!..
- В это же самое время – я заметил, что Мурман перестала жевать и, замычав в ответ, тоже отошла от стада и направилась в сторону оврага...
- Да ты что сказки-то рассказываешь?!..
- Скоро та, другая, корова поднялась вверх из оврага, и они – она и Мурман – остановились друг против друга... Если бы ты видел, дядя Мурман, как они похожи!..
- Скажи, малец: ты издеваешься, да?

– Со стороны казалось – будто они беседовали...

- Они... Кто – они? Коровы?!..
- Ну, честное слово, дядя Мурман, можно было так подумать!..
- Господь с тобой! – всплеснула руками баба Лина.
- Потом Мурман спустилась в овраг, а та – пришла на наше пастбище и заняла ее место...
- А ты знаешь, что бог наказывает за вранье?
- Да не вру я, дядя Мурман, клянусь, не вру! Когда наша корова оказалась на той стороне, ей навстречу вышел большой белый бык, и они как бы начали говорить друг с другом...
- Я тебе сказал не врать?!..
- А потом этот бык встал сзади нашей Мурман и залез на нее...
- Ох!.. – выдохнул не совсем еще выздоровевший Мурман и ударил себя по лбу, порываясь встать с постели.
- Представляешь, дядя Мурман, тот белый бык твою Мурман отъе...
- Прикуси язык! – раскричалась на мальчика бабушка. – Где ты набрался этих слов?!
- От дяди Мурмана! – хитро улыбнулся Гио.

•

В тот вечер Мурман и Гио ждали возвращения стада с пастбища – сидя на крыльце. Спускались сумерки, когда издали начало доноситься знакомое позвякивание.

– Идут! – крикнул Гио насупившемуся Мурману.

Не дав корове войти во двор, ветеринар пересчитал у нее пятна: их оказалось двенадцать – как и предупреждал мальчик. Он растерянно посмотрел на Гио.

– Что же теперь делать?..

Но, утерев рукавом мокрый лоб и широко распахнув ворота, Мурман все-таки впустил корову.

– Ну уж если коровы такое вытворяют!..

•

Через три дня у вернувшейся с пастбища коровы было уже тринадцать пятен. Мурман обнял свою настоящую корову и, расчувствовавшись, даже прослезился.

– Провела меня, да?.. Корова ты, корова...

В тот же вечер ветеринар внимательно осмотрел свою Мурман: она оказалась стельной...

•
На следующее утро коровы, как обычно, потянулись вереницей по деревенской дороге, которая вела на пастбище. На боку у каждой коровы красовалось выведенное большими чернильными буквами имя хозяина. Невыспавшийся Мурман с воспаленными глазами, стоя за воротами вместе с Гио, провожал стадо взглядом.

Впереди всех шла стельная Мурман. За ней следовали – Нодар, Элисо, Эльза, Лина, Бычок, Зорро, Коля, Увалень и другие коровы. Глядя, как они проходят мимо Лиинной лавки, Гио лукаво улыбнулся.

– Дядя Мурман, а почему у Лии нет коровы?..

Мурман не нашелся, что ответить, и некоторое время они оба стояли молча. Потом снова заговорил мальчик:

– А когда у твоей коровы родится теленок, ты напишешь у него на боку свое имя – Ариал Болтом?

Мурман опять ничего не ответил, потом повернулся и с задумчивым видом вошел в дом.

•
Лия открыла лавку с раннего утра. Аккуратно подметя пол и распахнув окна, чтобы проветрить комнату, она зашла за прилавков и стала раскладывать товар на полках. Очень скоро Лия услышала, как, медленно приближаясь, позванивают колокольчики. Через минуту-две коровы должны были – как обычно – пройти мимо лавки...

Лия посмотрела в открытое окно и увидела белую голову Мурман, обрамленную оконной рамой. На боку у коровы вместо имени ее хозяина странным образом было написано: "КОГДА У". Прочитав, Лия нахмурилась.

За Мурман появилась Нодар с надписью – "МОЕЙ МУР".

У женщины перехватило дыхание.

"МАН РОДИТ" – было написано на следующей корове.

"СЯ ТЕЛЕ" – бежала строка.

"НОК ХОЧУ" – гласил очередной коровий бок.

"ЧТОБ ЕЕ ЗВА"...

Лия вышла из-за прилавка и потихоньку приблизилась к окну.

"ЛИ ЛИЯ!"

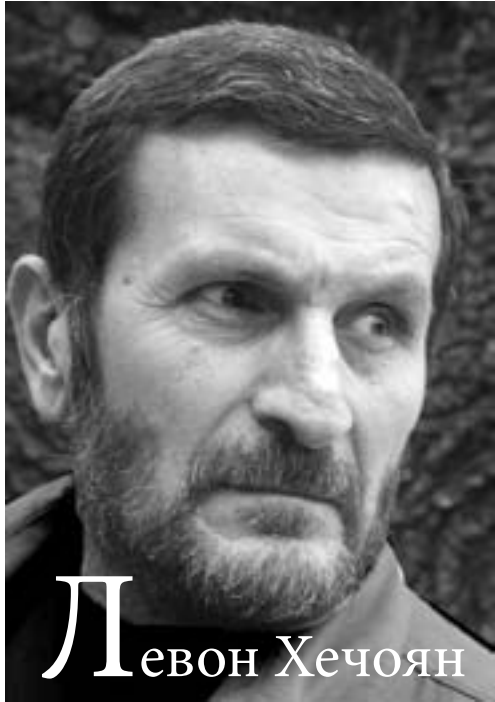
На душе у Лии стало вдруг так тепло – будто солнце спустилось к ней на землю!

На несколько минут она застыла в приятном оцепенении. Потом, встряхнувшись, она сдернула с головы косынку и подошла к висевше-

му на стене зеркалу. Внимательно себя разглядывая, она распустила свои светлые волосы и даже расстегнула две верхние пуговицы на платье. А в довершение – подкрасила губы помадой.

Лию было не узнать: она вся как-то преобразилась, а ее сердце забилося громче и быстрее...

Отражавшееся в зеркале лазурное небо обещало ясную погоду еще надолго. По деревенской дороге, что вела на пастбище, степенно ступали коровы с маленькими звонкими колокольчиками и странными именами: КОГДА-У, МОЕЙ-МУР, МАН-РОДИТ, СЯ-ТЕЛЕ, НОК-ХОЧУ, ЧТОБ-ЕЕ-ЗВА, ЛИ-ЛИЯ! и другие.



Родился в 1955 году. 1997 – участник симпозиума писателей Азии, состоявшегося в Вашингтоне. 1999 – за роман «Черная книга, тяжелый жук» присуждена государственная литературная премия Армении «Золотой тростник». 2000 – участвовал в мероприятии под названием «Литературный экспресс», организованном Бундестагом Германии и прошедшим под эгидой Евросоюза и ЮНЕСКО. Лауреат нескольких литературных премий. Рассказы переведены на русский, украинский, английский, испанский и немецкие языки. Живет в городе Раздан.

Третий сын

Дождь прошел два дня назад, ослепительно вспыхивая, взошло утреннее солнце, и нестерпимый поток света выпил из земли влагу. Сосед наш Нерсик спал пьяный, не смогли добудиться его. Мы вывели со двора трактор и без него уехали на приозерные луга траву косить. Одно из озер было красным, другое – желтым, а третье – синим. Мы сделали четыре круга, за нами тянулись струи скошенной травы, сидевший рядом Самвел надувал из жвачки шарики и взрывал их у себя под носом, затем вновь и вновь передними зубами скатывал жвачку, надувал на губах и опять взрывал. И вдруг он выпал из кабины, и заднее большое колесо трактора проехало по нему. Отец находился на косилке-буксире. Я сразу заметил его увеличившиеся глаза и остановил машину. Мы молча сидели час, два... Мимо нас взад и вперед сновали мышки. Поблизости запел жаворонок. Отец произнес: «Пойди в деревню за матерью, пусть придет». В глаз его ужалила пчела, глаз заплыл синяком и с такой физиономией отец был похож на человека, которого хорошенько избили. «Милиция не должна вмешаться в это дело, – сказал он. – Посадят и соседа нашего Нерсика, и меня, и тебя. Это касается только нас. Матери скажи, чтобы взяла обед, и соседей спроси, не видели ли они Самвела, а если увидят, пусть пошлют на луг трех озер». Одно из озер было красным, другое – желтым, а третье – синим.

Я сразу поднялся, шел быстро, не оборачиваясь. Затем ко мне присоединилась какая-то крохотная птичка, почти с кулак, она сопровождала меня до самой деревни, стремительно опускалась вниз, бросалась под ноги, трепетала крылышками и тут же улетаала.

Я намеренно со скрипом открыл калитку, но дед не проснулся. Он сидел на камне рядом с ульями, одурманенный однообразным жужжанием пчел и ароматом рождающегося меда, находился в состоянии бесчувственности и не заметил меня.

Пока мать собирала поесть, я отправился на сельскую площадь, в каждом дворе спрашивал семи-восемилетних детей и взрослых, не видели ли они Самвела. Когда вернулся, узелок с аккуратно уложенной едой был уже готов, мы взяли сумки и вышли. Дед все еще сидел на камне рядом с ульями, я подошел, сжал ему плечо, глаза его забегали в глазницах, я заговорил чуть громче обычного: «Мы траву косим, как только Самвел появится, пошли его на луг трех озер помогать нам». Он слушал, глядя на меня обморочным взглядом.

Я шел все время впереди. Не успели мы выйти из села и вступить на луг, как птичка появилась опять и стала метаться и биться у наших ног. Она слегка обгоняла нас, возвращалась и вновь исчезала. «Не бойся», –

сказала мать. “Давай посидим немного, пусть улетит, потом пойдем”, – предложил я. Мы сели, она положила руку мне на голову. – “Она, наверное, сопровождала тебя, когда ты шел домой, и поэтому ты испугался. Не надо бояться ее отчаянных вскриков, это же обычная птица. Сейчас жарко, все мошки-букашки прячутся под травой, когда мы идем, стебельки бьются о наши ноги, мы вспугиваем их, и сопровождающая нас птаха с радостными криками бросается на них. Ничего таинственного в этом нет, и такие птицы бывают, не надо бояться их. Они никогда не вылетают за пределы луга, привычка у них такая”. Я шел быстро, птичка не отставала от нас. Издали я сначала увидел три озера, а затем – отца. Одно из озер было красным, другое – желтым, а третье – синим. Мать все в таком же настроении шла и рассказывала, что Сашик, сын Ефрема, купил дом в Ереване, а Ева отнесла Мукучу ночью горшок мацуна. Затем мы пришли и встали над ними, и наши две густые черные тени растянулись по земле. Узелок выпал из рук матери, она не плакала, пыталась собрать еду, но еда выскакивала из рук, катилась, она машинально хватала ее, все опять падало из рук, рассыпалось, она не плакала, в глазах не было слез, только волосы покрывались влагой, мокли. Отец сказал ей: “Плачь, сколько можешь, рви на себе волосы, кричи, скорби, но чтобы дома ни звука, никто не должен знать об этом”. Плач помог матери, и мы заплакали. Распухший от укуса пчелы, заплывший синяком глаз отца был закрыт и, плачущий, он напоминал человека, которого крепко избили, а когда плакал в голос, напоминал маленького ребенка.

Все ярче становились в небе ослепительные вспышки, острее резали лезвия сверкающих пламен, мы не слабели от слез и не потели. Мы рыли землю. Вечерело. Вырезав квадратами дерн, мы с отцом выкопали яму. Лишнюю землю выгребли, унесли. Затем опять так разложили квадратные куски дерна и подровняли землю, чтобы не было ничего подозрительного.

Солнце стало клониться к закату. Отец поднялся в кабину и уехал на много вперед. Подпрыгивающая на ухабах косилка-буксир страшно грохотала: отец вел в деревню трактор, резко скрипящий металлом.

Мы с матерью шли по луговой дорожке, птичка опять присоединилась к нам, она охотилась за мошками-букашками, соскакивающими со стебельков трав от ударов наших ног, то справа, то слева летела рядом с нами, падала, взмывала. Луг остался позади, мы уже приближались к деревне, под ногами была сухая земля, но птичка продолжала кружить вокруг нас. Мать подошла ближе, коснулась меня плечом. Когда мы пустились в обратный путь, я заметил, что у нее нет одной серьги, но не

хотел говорить ей об этом. Как только птица вновь пролетела, задев нас, мать взяла меня под руку, рука ее дрожала, а глаза следили за кругами, совершаемыми птичкой, точно так же мать стонала ночью во сне после работы в поле, и дрожь ее передалась мне, и меня стало трясти. Мы пришли в деревню, еще не стемнело, в глазах лошади еще отражались окружающие картины. Пчелы уже залетели в улья. Дед проснулся от бесчувственной одури, привязал лошадь к изгороди и гладил ее, рука его дрожала вместе с ее трепещущей шкурой, и он вздрагивал всем телом. В больших широких глазах лошади отражались наши лица, у матери не было одной серьги. Она сказала: “Самвел еще не вернулся, отец пошел искать его”. И мы с матерью стали ходить по деревне, искать и звать брата: “Самвел, Самвел!” Никто в деревне не видел его. Двое моих огромных дядей с налитыми кровью глазами, запаренные, мужественными, низкими голосами допрашивали всех и отдавали распоряжения. Многие, присоединившись к нам, до рассвета с фонарями искали брата во всех мыслимых и немыслимых местах.

Пастух Аво сказал: “Кажется, я видел его”. Спросил мою мать: “Он был в белой рубашке? Если в белой, то это был Самвел. На желтом озере рыбу ловил. Я еще подумал, как такого мальчика одного на озеро отпустили, правда, я видел его издали, но на нем точно была белая рубаха”. Впереди, светя себе фонарями, с красными от давления глазами, шли мои дяди, придя на озеро, люди разделились на группы и продолжали искать. В направлении озера в темноте вместе с толпой и мы выкрикивали имя брата. Вода достигла сначала коленей, груди, а затем и горла моего отца, он шел вперед и кричал, шел и кричал. Мать также звала сзади. Ее голос выделился из общего хора, зазвучал отчетливо и поэтому, наверное, мой отец вернулся. На платье у матери давно не было одной пуговицы, прикрывающей грудь, я заметил это еще по дороге домой, но не хотел говорить ей об этом. Утром Макар вызвал из райцентра следователей. Клуб превратили в контору, двух моих огромных дядей поставили охранять дверь и опросили многих. Отца спросили: “Есть у тебя в селе враги?” Мои дяди, с налитыми кровью глазами, усмехнулись: “А заплывший глаз, а синяк?” Отец мой походил на человека, которому хорошенько набили физиономию. Прибывший с ними эксперт осмотрел лицо отца, сказал: “От укуса пчелы, точно”. В протоколах записали, что мальчик ловил в озере рыбу и утонул. Отцу дали расписаться и уехали. Соседки приходили утешать мать, говорили: “Глядишь, объявится Самвел. Ребенок, заблудился, наверное, заснул где-нибудь под кустом, упал с камня, потерял сознание, придет в себя, вернется...” Одно из озер было красным, другое – желтым, а третье – синим...

После полудня к Даниэлу пришли, сказали, что президент приглашает его принять участие в церемонии организованного в честь своей победы торжественного обеда. Однако рано утром позвонили, сообщив, что торжество состоится не в среду, а в пятницу.

Вечером Даниэл заглянул в комнату Васака, предложил пойти вместе. Они долго разговаривали. Потом расставили шахматы. Компьютер с перерывами озвучивал симфонии с участием хора. Когда Васак сказал, что ему не хочется идти на этот обед, Даниэл встал из-за шахматной доски, подошел к окну. Сын говорил, что вечера с официальным регламентом не могут человеку прийти по сердцу, тем более что он и не приглашен-то. Даниэл подумывал уйти, но на ум не приходило, что еще можно было сказать перед уходом. И вдруг сказал, что президент знает его, лично знаком с ним.

Выбирая удобное для машины место на стоянке, Даниэл заметил, как подкатили и припарковались несколько автомашин с бесшумными двигателями – машины министров. В темноте слышались разговоры о том, что вот-вот прибудет президент.

В гардеробной сдали пальто; поднимаясь на второй этаж, он познакомил Васака с начальником разведывательного управления. Сказал, что сын в этом году окончил университет, работает журналистом в не очень-то известной газете.

Начальник разведывательного управления остановился посередине лестниц, прищурил глаза, сказал, что сейчас увидим, выясним-узнаем. Даниэл с восторгом заметил, что тот с вдохновением, с завораживающей дикцией декламирует отрывки из стихотворений двух известных писателей, а потом догадался, что, приводя цитаты из именитых поэтов, начальник разведывательного управления на самом деле просто экзаменует его сына на предмет глубины его познаний в литературе. Тем временем он уже стал подвергать Васака новому испытанию: задавал вопросы, требуя, чтобы тот ответил, что пытались через женский образ выразить авторы продекламированных им четверостиший. Спрашивал: «Или вот если б на месте писателя был ты, какой еще эпитет бы использовал для того, чтобы ярче подчеркнуть характер женщины?» – «Трахать лучезарных девушек». Даниэл видел, что до сих пор они стояли и вроде бы мирно беседовали, затем Васак опередил начальника разведывательного управления, тот из-за его спины несколько раз переспрашивал: «Что ты сказал?»

Пока они довольно громко так разговаривали, Даниэл говорил жене начальника разведывательного управления, что да, то, что она слыша-

ла верно, на днях он вновь отправляется в путешествие, но на этот раз заберет с собой и сына. Женщина обернулась, как-то странно взглянула на Васака: затрещал паркет, и тогда Даниэл заметил, что на ее ногах были размером больше сорок третьего синие туфли на плоских каблук-ках. Желтые волосы поблескивали подобно золоту.

Со второго этажа навстречу спустился сопровождающий, все последовали за ним. Он говорил, что вот-вот придет президент.

Даниэл с Васаком направились к своим местам: им они были назначены по одну сторону стола, начальнику разведывательного управления с женой по другую. Производимые той и другой парой одинаковые движения показались Даниэлу упражнениями перед зеркалами в балетном зале. Одновременно он мимолетным взглядом охватил все вокруг: часть стола с ослепительным блеском фарфора, тот кусок потолка, откуда три бронзовые трубки осыпали танцующих похожими на снежинки белыми хлопьями света. В отдалении заметил поднимающихся по застеленным коврами красным ступенькам официальных лиц, возвращающихся со своими женами из туалетных комнат. За их спинами увидел черные ниши в человеческий рост, и только через некоторое время понял, что эти прямоугольные мрачно-темные полости вдоль стены – не выстроенные в ряд крышки гробов, а проставленные на белом фоне стен динамики. А извивающимися змеиными головами, что изливались из винных бочек, как выяснилось, замысловато курились расставленные рядом с круглыми колоннами заполненные песком мусорные урны для окурков. Еще он заметил в центре зала кусок более освещенного пространства стоящий на отдельном столе огромный трехэтажный торт с бесчисленным количеством зажженных свечей, с шоколадной статуей президента при галстук-е на его вершине. Даниэл, время от времени оборачиваясь, отвечал разным голосам, при этом воспринимая и грохот мощных динамиков. Он видел общее неторопливое движение вперед сквозь шум, веселые лица и одновременно слышал, как скрипел паркет под ногами жены начальника разведывательного управления.

Из-за того, что сразу видел и слышал так много, он спутал лица. Не мог сообразить, какие слова обращены к нему, а какие к начальнику разведывательного управления. Под столом взгляд Даниэла привлекли разутые ноги сына, рядом подаренные в связи с торжеством новые ботинки с раскиданными по сторонам развязанными шнурками – они походили на красновато-желтых дождевых червей.

Когда умолкла музыка, он вновь стал четко воспринимать окружающее, однако от грохота динамиков воздух все еще вибрировал в его

ушах, свисающие с настенных светильников воздушные шарик, плыва в разные стороны, трепетали на нитях. Приноравливая лежащую перед ним тарелку, вилку и нож, Даниэл услышал и разговор о том, что на границе пропал солдат, видимо, не сумев сориентироваться в густом тумане, вышел на сторону противника: эту весть начальник разведывательного управления сообщил министру финансов. Даниэла тут же заинтересовала судьба пропавшего солдата, ему захотелось спросить, при каких обстоятельствах тот исчез, в какое время дня или ночи или какой по счету он ребенок в своей семье. Однако не успел он раскрыть рта, как с соседнего стола вмешался начальник вокзала: два дня тому назад он по центральному телевидению видел передачу о большом путешествии Даниэла. Артист сказал, что как раз настало время выпить именно за его здоровье. Жена начальника разведывательного управления, отодвинув бокал, отказалась, и тогда артист стал долго-долго говорить о совершенных для человечества достижениях Даниэла, его неповторимых подвигах.

Затем принесли жареного фазана надолго воцарился шум от стука ножей и вилок. Даниэл положил крупный кусок птичьего мяса на тарелку жены начальника разведывательного управления. Чиркнув взглядом по сидящему вполборота Васак, он убедился, что на лицо его сына уже легла подобающая печать преданности, страдания и богобоязненности. Наполнив бокал газированной водой, Даниэл завел с ним разговор: о разведении на будущий год пчел, о пользе меда. Он говорил, что как-то, когда он путешествовал по далекой стране, в пасхальный вечер над его головой, словно летящая птица, пронеслась пчела в человеческом обличье, хотя знал, что беседа на эту тему была случайной: он ее завел для того, чтобы Васак не чувствовал себя одиноким.

Даниэл заметил, что к их столу подошел помощник президента, жестом подозвал к себе Васака. Парень чуть отодвинулся от стола и наклонился обуть и зашнуровать ботинки. Он издали видел, что помощник, бегая глазами по окружающим, что-то говорил – не то чтобы прямо на ухо Васак, но так, чтобы слышал его только тот один.

Начальник разведывательного управления осушил бокал вина. Потом поведал, что ночью из центра города исчез известный памятник конному всаднику. Эту новость он сообщал банкиру. Говорил, что из-за густого тумана сотрудники сторожевой службы по-лиции ничего подозрительного не заметили.

Банкир тут принял позу человека, изумленного до глубины души: хоть убей, он не поверит, что таких размеров памятник можно незаметно для чужих глаз открыто пронести по земле. Намекал даже на участие

вертолета в этом деле. Все время задавал вопросы, не давая Даниэлу возможности поучаствовать в разговоре.

Пока продолжались споры вокруг пропавшего памятника, Васак вернулся, сообщил Даниэлу, что помощник передал ему просьбу президента спуститься на первый этаж и, поскольку он хорошо владеет французским, встретить прибывающих из Парижа гостей. Едва он отошел от стола, официантка убрала прибор. Даниэл понял, что сына с ним разлучили: в этом было что-то неправильное, корябое.

Уже подали фаршированного зайца; официантка сообщила женщинам, что через сорок минут подадут рыбу – ишхан, и добавила, что трехэтажный торт разрежут, когда появится президент, чего все ждут с таким нетерпением.

Начальник разведывательного управления без конца спрашивал, а где же Васак, может, он чего-то испугался и ушел домой? Он приводил Даниэла в недоумение, периодически задавая один и тот же вопрос, на который Даниэл ему уже ответил, что по просьбе президента тот отправился встречать гостей-иностранцев. Начальник разведывательного управления доел последние пару ложек мороженого и вдруг громко рассмеялся. Однако отрезвляющим был для Даниэла не его хохот, не недоверчивое выражение его лица и даже не его намеки, что парень чего-то испугался, а то, о чем он догадался чуть позже его сразу отрезвили глаза цвета зеленого чая.

При том, что его сын, даже не пикнув, умел преодолевать гораздо более трудные ситуации. Даниэлу казалось невероятным, что Васак мог чего-то испугаться, пойти домой, не дождавшись и рассвета.

Два года тому назад, по нелепой случайности, тот в одночасье потерял свою подругу, с которой они в предстоящие праздники должны были пожениться. У нее была высокая температура, без предварительной пробы реакции организма на антибиотики ей всадили пенициллин.

Он пил не только все сорок дней, а с середины лета и до глубокой осени – ровно девяносто дней. Заперся в одиночестве на даче, недалеко от города: братья отца предполагали, что в уединении он сведет счеты с жизнью. Однако продержался до возвращения Даниэла из путешествия. Отец пришел к Васак, когда вода в ведрах, в детском надувном бассейне уже затянулась первым льдом.

Немного погодя Даниэл спустился вниз, вроде бы в находящийся на первом этаже туалет. Он поприветствовал стоявшего за округлой колонной безмолвного директора. Прошелся, заглянул в несколько открытых дверей, из-за которых несло мокрой штукатуркой. С сотовыми телефонами в руках в туалет группами заходили девицы, там постоян-

но жужжали электросушилки. Зашел он и в бильярдную. В холле внимание Даниэла привлекли черные как сажа рыбки, дефилирующие во вмурованном в стену аквариуме с выпуклыми стеклами. Женщина в халате цвета синьки, которая ухаживала за ними, сказала, что, когда увидела рыб в первый раз, из-за их глянцевой черноты и скользкого круговращения ей показалось, будто в воде плавают большие ласточки, а на самом деле это были пирании. И только позже она свыклась с их образом жизни – в день они съедали по одному говяжьему сердцу. Даниэл зашел и в кабинет охраны, звонил телефон; возвращаясь, он продолжал слышать звук непрекращающегося звонка. Швейцар открыл выходную дверь, стояла такая темнота, что невозможно было бы отличить белого голубя от черного. Чтобы убедиться, что никого нет, он немного постоял, закурил. Вернулся гардеробщик, он, казалось, не понимал Даниэла, не хотел отвечать на вопрос: «Где Васак?», отказывался сказать хотя бы, забрал ли парень при выходе свое пальто. Под столом раздалось шипение, угасло, будто на огонь пролилась вода. Гардеробщик объяснил, что случайно наступил на лежавшую около электроплиты кошку. Затем припомнил передачу по телевидению, узнал Даниэла, сказал, что взволнован неожиданной встречей с таким знаменитым путешественником. Даниэл заметил: тот был высокого роста, а стол – низкий, локтями он опирался о стол.

Даниэл рассказывал о своих путевых историях гардеробщику, уборщице с красными, как петушиный гребешок, перчатками, электрику, а еще появившейся рядом с ним женщине в халате цвета синьки, что время от времени отделялась от группы, припадая на одну ногу, торопливо бежала, останавливалась на наискосок деющих выложенный плитками коридор червячных извивах цвета охры.

Они сообщили Даниэлу, что контролера автостоянки по серьезной причине срочно вызвали домой. Гардеробщик говорил ему, что охрана машин участников пира – важное дело, президент распорядился, чтобы парень временно заменил контролера. По поводу того, как поступили с Васаксом, Даниэл в их присутствии, понятно, недовольства не выказал. По ступенькам стремительным бегом спускалась охотничья собака одного из гостей. В дверях появилась официантка, в тот же миг послышался похожий на звон взвизг кошки, которую обнаружила и тут же оглоушила собака. Тело кошки вздрагивало в конвульсиях, три-четыре усика на ее мордочке тоже были охвачены дрожью. Ошарашенная официантка оправдывалась перед директором за то, что выронила поднос с шашлыком, объясняя, что ей почудилось, будто это не кошка, а человек завизжал под ухом что было мочи. Разыскивая упавшую с одной

ноги туфлю, она плакала, судорожно всхлипывая.

Он поднялся на второй этаж, долго разговаривал с помощником президента, хотел сказать, чтобы Васакса немедленно вернули, что за методы применяются к парню в наказание за его дерзости. Но тут оперный певец в красном костюме поднялся и, приветствуя президента, заорал какую-то арию на итальянском. Даниэл поймал себя на мысли, что одной смелости маловато для того, чтобы укорять помощника по поводу Васака. Он возвратился на свое место, оперный певец сразу умолк. Оказалось, что ему подали знак начинать петь по ошибке – входившего в заднюю потайную дверь неизвестного человека спутали с президентом.

Садясь, Даниэл услышал, что ту самую статую всадника после того, как рассеялся туман, обнаружили в каком-то ущелье. Выяснилось, что там была конспиративная литейная мастерская. «Однако вместе с этой удачей возникла и большая проблема, – сообщал начальник разведывательного управления. После того как нашли, обнаружили, что гениталии у коня отсутствуют, – говорит. Хотя вред памятнику вроде бы не такой уж большой, однако скульптор, которому палец в рот не клади, утверждает обратное, наотрез отказывается установить на постаменте коня без них. Грозится обратиться в суд или международные организации по защите авторских прав». Начальник разведывательного управления говорил, что сейчас роты прочесывают все ущелье в радиусе нескольких километров, может, похитители еще не успели расплавить похищенное. А понимающие в этом деле люди продолжают вести переговоры со скульптором, чтобы тот согласился до рассвета, пока не началось движение, пусть хоть и в таком виде, поставить статую на место.

Все это он рассказывал академику, но в разговор вступил и Даниэл. Его весьма заинтересовало, что это за понимающие люди, которые без устали ведут переговоры со скульптором, убеждая его позволить установить на постамент кобылу вместо коня. Однако начальник разведывательного управления не успел дать объяснения Даниэлу: поправляя белые волосы да усы, он с улыбкой на лице принимал позы перед полароидом объявившегося возле стола фотографа. И что-то шептал на ухо жене, касаясь языком мочки, а она, вроде как с размаху, шлепала его по руке.

Однако прежде, чем Даниэл смог возобновить разговор с начальником разведывательного управления, громкоговорители разом умолкли. Танцующие в центре зала застыли, под их тонкими нарядами были заметны столбы позвоночника. Снова вскочил оперный певец в крас-

ном костюме и тут же в голос заорал ту же арию с итальянскими словами – ему показалось, что, выключив музыку, ему дают понять, что наступила его очередь приветствовать приход президента. Однако несколько музыкантов вдалеке уже махали руками, чтобы он замолчал, – это не президент пришел, а сгорел предохранитель микрофонов.

После под стенкой, на низкой сцене Даниэл увидел стройную девушку-диктора, то появляющуюся, то исчезающую между музыкальными инструментами, выискивающую спутавшиеся электропровода; когда она наклонялась, становился заметен пружинящий кошачий выгиб спины, к шлицу на бедрах сходилась черная полоска трусиков.

Затем вдруг Даниэл стал интересоваться достигнутыми в области языкознания успехами сидящего по соседству ректора института. Чтобы понять важность его открытий, задавал много вопросов. Ректорская жена, на груди которой красовалась роза, сказала Даниэлу, что ее прислал один воевавший в окопах солдат, впоследствии случайно подорвавшийся на mine. Но тут же сочла необходимым дать пояснение, что он в действительности не погиб, а потерял кисть руки и один глаз, однако после выписки из больницы не захотел больше жить. И теперь, куда бы она ни шла, с розой не разлучается.

Даниэл поднял бокал и чокнулся, заставив стекло зазвенеть, ректор не пожелал присоединиться к ним, вдвоем выпили коньяку.

Постепенно стал внимать говорящему через микрофон классному руководителю президента: тот рассказывал о его школьных годах, примерном поведении, легендарных сочинениях.

Даниэл понял, что ситуация все та же: от коньяка, бесед, от разглядывания расплывающихся картин ничего не меняется, скомканную в ладони салфетку бросил на тарелку, поднялся. Он еще не отошел от стола, когда помощник президента подошел и обхватил его руки ладонями. Так обучают малого ребенка первым шагам; покачиваясь в ритм музыки, он направлялся к танцующим. Чуть позже Даниэл увидел, что танцует и сам.

На первом этаже, когда гардеробщик перекинул пальто через стол, послышалось сухое шуршание рвущейся газеты, он счел необходимым дать Даниэлу объяснение, коснулся локтем: то был шелест покрытого лаком бумажного мешка, куда он поместил кошку, чтобы утром на машине отвезти за город, похоронить. После того как вместо пальто повесил на крючок металлический номерок, сказал, что с минуты на минуту ждут президента, тогда и разрежут трехэтажный торт, и еще сообщил, что на торт ушло приблизительно восемьсот яиц.

Чуть позже Даниэл понял, что он под дождем – такой звук от ударов о

жесть исходил от переполненных водосточных труб. Даниэл засунул руки в карманы брюк, направился к южному фасаду здания. Он поймал себя на мысли, что сын не испугался бы дождя: он ищет его. Зашагал между рядами машин. Из-за мощного ливня включился противоугонный сигнал одной из машин, замигал желтый свет. Даниэл остановился, так как ветер обо что-то сильно ударил, и только со второго раза, напряженно вглядываясь, он понял, что то был большой пластиковый мусорный бак. Вдали, позади высотного дома, занимался белый столб рассвета. Потом Даниэл был рядом с сыном – под дождем.

Перевод с амянского Эринэ Бабаханян



Автор нескольких поэтических
сборников. Пишет на осетинском
и русском. Врач-гинеколог.
Живет в Цхинвале.

Герань

Герань-цветок моей печали,
Ее я помню с малых лет.
Когда отца мы потеряли,
Лишь только наступал рассвет.

Нас по субботам мать водила,
К дубовой роще у села,
Где на ухоженной могиле
Герань бордовая цвела.

Мать по весне герань сажала,
Несла туда, и лишь потом,
Как только осень наступала,
Герань мы приносили в дом.

Прошло теперь почти полвека,
Душа безудержно болит.
Не стало мамочки на свете,
И там герань опять стоит.

Теперь ее я посадила
И поливать ее хожу.
Священна матери могила,
Герань моя там вся в цвету.

Герань таит в себе надежду,
Что будут помнить и меня.
Я мысль в себе лелею эту -
Ее посадит дочь моя.

2003

Доброта

Не встречайте людей по одежке,
Не берите вы в счет красоту,
Вглубь души загляните немножко,
Поищите вы там доброту.

Доброта – это тихое море,
Где спокойно, совсем не штормит,
Где так манят, чаруют просторы,
Где волна за волною бежит.

Гладь воды изумрудом покрыта,
Блики солнца – куски янтаря,
А вокруг там твердыня гранита,
Так приятна его теплота.

Берега все в коралловых рифах,
Дно морское – одни жемчуга,
Светит марево лазурита,
Чудо света – сама доброта.

И вот в этом спокойном качанье
Вдруг предастся забвению все,
Что когда-то вам жизнь омрачило,
Что болело несносно и жгло.

Не бывает там что-то случайно,
Знайте вы, доброты это суть,
Доброта – ведь она постоянна,
Вас не сможет она обмануть.

Не встречайте людей по одежке,
Не берите вы в счет красоту,
Вглубь души загляните немножко...
Дай вам Бог, встретить там доброту!

2003

Обними меня

Обними ты меня, обними,
Обними меня ты, как когда-то.
Негу счастья опять подари,
Чтобы стала душа вновь крылатой.

В те края ты меня уведи,
Где шумит счастья пыл непечатый,
Где бродить будем мы до зари,
Где горят колдовские закаты.

Лепестки алых роз собери,
Пусть они закружат надо мною.
Зацелуй ты меня, обними:
Я устала в разлуке с тобою.

Забери меня в звездную высь,
Млечный путь ты накинь мне на плечи.
В тихом вальсе со мной закружись,
Чтобы стало мне чуточку легче.

Как однажды, ты мне подари
Розу алую в каплях надежды!!
В ноябре, когда будут дожди.
Обними меня нежно, как прежде.

2007

В плену любви

В плену любви пускай всегда мы будем,
В плену любви – какая благодать!
Все беды, все невзгоды позабудем,
На зло не будем злостью отвечать.

В плену любви – какое озаренье!
Звучит души симфония сильней.
В плену любви чудесное виденье!
В плену любви – блаженства апогей.

В плену любви, о будьте, будьте, люди!
В плену любви – войдете в райский сад.
Там бродят вместе встречи и разлуки,
Там солнца свет, там хочется мечтать!

2003

Календула

Цветок календулы декор
Вдруг на окне моем расцвел.
Бушует бестия-зима,
А для него все трын-трава.

И осенило вдруг меня:
О, если б также расцвела,
Когда придет моя зима,
Душа уставшая моя.

КАК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ!

Как я люблю тебя, мой край,
Скажи, как выразить словами?
Земля отцов – земной мой рай,
Где горы с вечными снегами.

Где неба синь пленит собой,
Где воздух чист, звенит хрусталью,
Разят где скалы крутизной,
Блестя на солнце черной сталью.

Где бурных рек вдаль слышен рев
В борьбе за путь вперед извечный,
Где ворожит полет орлов
В небесной сини бесконечной.

Где родников журчит вода –
Земли священной подаянье,
Она искрится, как слеза,
Шепча древнейшие преданья.

Где старость почитают все,
Дороже жизни честь считают,
Где сыновья, служа тебе,
В бою достойно погибают.

Где славных предков алтари
И их святейшие могилы,
Где мы корнями проросли,
Где так сильны, неодолимы.

2009

Мечтать дано лишь только человеку

Ночная тишь, сижу я у порога,
А звездный шлейф там где-то высоко.
Я волю дам мечтам своим немного,
Ведь в этой жизни все так нелегко.

И вижу – длинноногая девчонка
Вся в конопушках, с длинной косой,
Смеется заразительно и звонко,
Решив поспорить с бестией-судьбой.

И так к лицу ей пышная корона,
С медовым переливом цвет волос.
На босу ногу бегают задорно.
Маячит где-то там вдали утес.

Из штапеля коротенькое платье.
Я замерла, дыханье затая.
И что-то осенило вдруг сознание,
Что девочка шальная – это я.

Другая уготована судьба ей,
Конечно, будет счастлива она.
Махнула вдруг рукой мне на прощанье.
Постой, девчонка, не бросай меня!

И я вернулась снова в мир реальный.
Как здорово, что можно помечтать.
Хочу сказать вам всем, так, в назиданье
Уметь мечтать – то божья благодать.

Запомните, мечты порой бывают.
Спасательною шлюпкой в трудный час,
Когда мирские волны с ног сбивают,
И кажется, все кончено для вас.

